

[Polaris]

Николай
ЛОПАТИН



ЧУМА

Роман

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХСII



Salamandra P.V.V.

**Николай
ЛОПАТИН**

ЧУМА

Роман

Salamandra P.V.V.

Лопатин Н. П.

Чума: Роман. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 152 с.
— (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXCII).

В центре конфискованного цензурой и никогда не переиздававшегося фантастического романа писателя-самоубийцы Николая Лопатина (1880-1914) «Чума» — зловещая фигура гениального биолога и мизантропа профессора Хребтова, напоминающего своей внешностью отвратительного паука.

Потерпев любовную неудачу, профессор Хребтов заражает Москву бациллами чумы. Анархия, пожары, оргии и погромы сопровождают распространение болезни...

Н. Лопатинъ.

ЧУМА

РОМАНЪ.

85 к.

ЧУМА

Крайнее уродство так же трудно изображать, как и редкую красоту.

Поэтому я хорошо сознаю, какую неблагодарную задачу взял на себя, собираясь описывать внешность профессора Хребтова; но мне необходимо сделать это потому, что отталкивающая наружность, вне сомнения, оказала громадное влияние сначала на склад его характера, а затем и на всю его судьбу.

Она была проклятием, наложенным при рождении и сохранившим силу до конца жизни.

Издали Хребтов походил на паука, вследствие почти квадратного туловища и непомерно длинных рук и ног. Последнее, кроме того, были изогнуты настолько сильно, что кризисна оставалась заметной, какую бы позу он ни принимал.

Вблизи же, внимание зрителя не могло не сосредоточиться на голове Хребтова, потому что она отличалась не обыкновенным уродством, а уродством поражающим, возбуждающим ужас и отвращение, — уродством, приковывающим к себе взгляд с гипнотической силою.

Казалось, гениальный художник создал эту голову в порыве дьявольского вдохновения, с единственной целью надругаться над человеческим лицом.

Огромный, прекрасный лоб мыслителя сочетался здесь с отвратительными, маленькими, подслеповатыми глазками без ресниц, с того рода глазами, в которых всегда чувствуется сластолюбие, зависть и хитрость.

Скулы были развиты, как у хищного животного, прыщеватые щеки землистого цвета, прорезанные морщинами, придавали лицу унылое, мертвенное выражение. Огромный, выдвинутый вперед вместе с подбородком рот невольно заставлял вспомнить гориллу.

Впрочем, этого мало; главное уродство Хребтова зависело не от черт лица, а от его противного, отталкивающего выражения, причину которого невозможно было найти, пе-

редать которое словами — немыслимо.

Достаточно сказать, что ни один человек, выдавший его, не мог преодолеть в себе чувства враждебной гадливости. Воспоминание о страшной маске Хребтова долго сопровождало каждого впечатлительного встречного, как воспоминание тяжелого сна или кошмара, вызванного лихорадочным бредом.

А между тем, в этом теле выроodka жил мощный, гениальный дух!

Вот и говорите после того, что духовный мир человека так или иначе отражается во внешности, — ведь профессор Хребтов обладал гениальнейшим умом столетия; его имя записано в летописях культуры наряду с именами Дарвина, Мечникова, Пастера; его работы в области биологии покорили человечеству новый, неизвестный мир научных тайн.

Мало того, в смысле субъективной силы, энергии и таланта, его следует поставить выше перечисленных ученых, ибо он, подобно Ломоносову, Горькому и Шалапову, вышел из простолюдинов; значит, должен был преодолеть тысячу препятствий, отделяющих сына неграмотного крестьянина от самых высоких вершин культуры.

Разумеется, такая карьера в самом начале не могла обойтись без счастливой случайности, раз навсегда выбившей гениального ребенка из колеи темного существования простолюдина. Интересно, что этой улыбкой счастья, первой и последней в жизни, Хребтов был обязан как раз своей проклятой внешности.

Его отец был дворником одного из домов в Москве, на Воздвиженке. Самыми уважаемыми жильцами того дома, где он служил, считались старый, важный чиновник со своею женою, — чиновничья чета, бездетная, скучная, сухая, методичная и мелочная.

Они прожили вместе около тридцати лет, и в результате их отношения между собою слагались из остатков показной нежности, вроде слова «душечка», постоянно употребляемого в разговоре, из общих забот о карьере мужа, из общих интриг и сплетен по адресу знакомых и из вечных беспричинных, но злобных ссор между собою.

Казалось, с каждым годом своей тридцатилетней супружеской жизни они все более надоедали друг другу, так что под старость им осталось одно наслаждение — вымещать скуку, наводимую друг на друга ехидными разговорами, спорами, полными желания уколоть, обидеть собеседника.

Подобные отношения могут возникнуть только между супругами, долго проживающими вместе или между каторжниками, скованными общею цепью. От постоянных ссор злобное выражение так вкоренилось в их лица, что куда бы они ни шли, чем бы ни занимались, физиономии у них оставались такие, будто он ей говорил:

— Душечка! Я не знаю, где у вас глаза. Кофе опять пережарен!

А она отвечала:

— Душечка! если бы вы не заигрывали с кухаркой, я могла бы следить за хозяйством; в доме же, где сам хозяин заводит разврат, порядка никогда не бывает!

Вот эта-то симпатичная парочка и сыграла в жизни Хребтова роль Провидения.

Однажды, проходя по двору, чиновник заметил сына дворника, мальчика лет восьми, который пускал кораблики в водосточной канаве. Несмотря на нежный возраст, ребенок был так поразительно нехорош со своими кривыми ногами, руками, как грабли, и лицом, похожим на злобную маску, что чиновник, хотя редко делился с женою впечатлениями, сказал ей, вернувшись домой:

— Сегодня я видел на дворе необыкновенного мальчишку. Вот пугало-то! Настоящее маленькое чудовище; даже неприятно смотреть.

Генеральша (так звали все в доме жену чиновника) ничего не ответила, но несколько дней спустя, после какой-то ссоры, желая досадить мужу, послала за мальчиком под предлогом желания накормить его и приласкать.

Маленький Хребтов не обманул возложенных на него надежд. Одно его появление в доме принесло чиновнику больше огорчения, чем самое упорное пиление супруги. Он попробовал протестовать, говоря, что при виде «мерзкого паучонка» теряет аппетит, но в ответ послышалась целая

проповедь об эгоизме, жестокосердии, скаредности и пр. и пр.

Тогда супруг смирился, притворился равнодушным, однако при встречах с паучонком во дворе или наедине в комнатах никогда не упускал случая дать мальчику пинка или ущипнуть его как можно сильнее.

Сделавшись в руках генеральши оружием против ее мужа, маленький Хребтов этим самым стал для нее дорог.

Возможно также, что бездетная старуха почувствовала к нему известную привязанность, потому что сначала вспоминала про него только в дни супружеских ссор, а потом стала заботиться о нем все больше и больше, начала регулярно прикармливать его, снабжать одеждой и, наконец, решила платить из своих средств за его обучение грамоте.

Последнее совсем не понравилось отцу Хребтова, находившему всякое учение баловством. Однако спорить с генеральшей он не нашел возможным; она была самою важною жиличкою в доме и, хотя на чай давала скупое, но восстановить ее против себя — значило не обобратиться потом неприятностей, криков и жалоб хозяину.

Поэтому старый дворник ругал дома мальчишку, издевался над его ученостью и поощрял к тому же других детей, но при встречах с барыней целовал у нее ручку, рассыпаясь в благодарностях за попечения.

Эта трогательная признательность подогревала благотворительность генеральши. Умиляясь собственной добротою, она дошла до того, что в один прекрасный день отдала Васю Хребтова в гимназию и таким образом, в возрасте десяти лет, мальчик окончательно оторвался от родной почвы, чтобы вступить на новую дорогу.

Дорога эта должна была привести его к бессмертию, но в ту пору она обрекла Васю на жестокие страдания. Отец не мог ему простить, что должен распоряжаться сыном не по своему усмотрению, а по указаниям взбалмошной барыни. Со своеобразной логикой дикаря, он считал мальчика главной причиной такого положения вещей и всячески вымещал на нем свою обиду.

Братья и сестры завидовали успеху Васи, так что за все благодеяния генеральши ему приходилось расплачиваться тем, что дома его жизнь была отравлена от первой минуты и до последней.

Он не жаловался, редко даже огрызался, когда его преследовали, но его безобразное лицо становилось все злее и злее. Другой крестьянский мальчик, попав в такое сложное, мучительное положение, отказался бы учиться, убежал бы или вообще нашел какой-нибудь выход, но Хребтова спасло прилежание, с каким он отдавался науке; он так много, так упорно учился, что утомленный этим организм оказывался мало чувствительным к чему бы то ни было.

Так продолжалось в течение четырех лет. Когда же Вася перешел в четвертый класс, генеральша умерла, и он остался без всякой поддержки.

Наступил наиболее тяжелый период его тяжелой молодости.

Отец хотел немедленно взять сына из гимназии. Никакие просьбы, никакие мольбы не помогали. Только тогда, когда Вася, с горящими глазами протягивая руку к образам, поклялся, что в ближайшую же ночь зарежет всю семью, если ему помешают продолжать учение, старый дворянин согласился не осуществлять своей родительской воли.

Но за это он выгнал сына из дома и запретил ему попадаться себе на глаза.

— Уходи, волчонок, гадина, уходи, выродок!

Таково было последнее напутствие, какое услышал Хребтов в родной семье, покидая ее, чтобы пуститься в широкий свет.

И он пошел в свет, готовясь бороться за жизнь всеми силами своего только что проснувшегося ума, своих нервов, своих мускулов, своего несокрушимого здоровья и бесконечной настойчивости.

Он замешался в толпу отыскивающих хлеба, а люди, встречавшие его, и не подозревали, какая колоссальная сила скрыта в этом юноше, какое значение будет иметь для мира то, в какую сторону она направится — на добро или на зло.

Как жил он дальше, как ухитрился кончить гимназию?

Я думаю, Хребтов сам не сумел бы рассказать про это, потому что существовал со дня на день, зарабатывая где и как придется; питаюсь тоже Бог весть как, по временам голодая, каждый день совершая чудеса выносливости, работоспособности, настойчивости.

«Работать, чтобы существовать; существовать, чтобы работать».

Этой формулой исчерпывается все содержание его гимназической жизни. Когда он впоследствии вспоминал эти годы, они представлялись ему как долгий период каторжной работы, без малейшего просвета, без одной минуты спокойствия за завтрашний день.

С людьми он сталкивался только в двух случаях — в гимназии и при зарабатывании хлеба. Но не много радости видел он от людей.

Гимназических учителей раздражал его мрачный вид и грубые манеры. Большинство из них, люди, порядочно надерганные жизнью, несомненные неврастеники, вели против него постоянную глухую борьбу, пытаюсь срезать его или поставить дурной балл.

С товарищами Хребтов тоже не мог сойтись. Будь он физически немного слабее, он сделался бы по причине уродливости предметом издевательства и злых шуток для всего класса. Так как он был силен и в минуты ссор проявлял необузданное бешенство, то его оставляли в покое, но сторонились от него и ненавидели непримиримую детской ненавистью, отчасти за внешность, отчасти за то, что он лучше всех учился, отчасти за то, что никто никогда не видел от него приветливого взгляда.

В семьях, где давал уроки, Хребтов тоже не мог встретить ласки. Те, кто платит за уроки более или менее приличное вознаграждение, предпочитали нанимать более симпатичных репетиторов. Его брали или скупцы, пытавшиеся урезать каждую копейку, учесть каждую минуту работы, или люди, придавленные нищетой — нищетой, которая нас озлобляет, уродует нашу душу и заставляет на весь свет смотреть с раздражением.

Так пробивался он своей дорогою, одинокий, совершенно одинокий, глубоко одинокий.

У нас принято злоупотреблять словом «одиночество». Поэтому редко кто представляет себе всю тяжесть гнета, какой оно накладывает на человеческую душу.

Не одинок тот, с кем ласково разговаривает случайный спутник в вагоне.

Не одинок тот, кто может найти сочувствующего слушателя, говоря о своих личных делах.

Не одинок тот, кто в радостный, весенний день может смешаться с толпою на бульваре и обмениваться со встречаемыми приветливым взглядом.

Одиночество Хребтова было гораздо более полным и страшным.

Это было одиночество в стане врагов. Он не знал ни ласкового взгляда, ни улыбки, ни даже случайного слова ободрения.

Человечество, как чуждое, злобное существо, смотрело на него тысячью холодных глаз. Юноша ежился под этим пристальным взглядом, все глубже и глубже уходя в самого себя.

Деятнадцать лет он сделался студентом естественно-исторического факультета в Москве.

С того момента его существование немного прояснилось. Работа была по-прежнему тяжелая, непрерывная, голод и нищета по-прежнему его давили, зато у него в жизни появилось некоторое внутреннее содержание.

Он полюбил биологию.

До сих пор его внутренний мир, — святая святых человеческого «я» — был темен и пуст, как у дикаря. Мечтать он не умел, да и не мог научиться, от мысли о женщинах спасало его то отвращение, какое они к нему проявляли, определенных задач и целей на будущее он тоже не имел.

Руководящим началом жизни Хребтова был могучий инстинкт жизни, темный, бессознательный, унаследованный им от предков-пахарей, проводивших всю жизнь в упорной борьбе с землею, добываясь лишь одного — возможности существовать.

Теперь интерес к науке дал ему новый жизненный импульс и еще увеличил колоссальную силу этого удивительного человека.

Отдавая посторонним занятиям лишь столько времени, чтобы заработать денег на пропитание, даже из этих часов пытаясь урвать что можно и расплачиваясь за это голодом, Хребтов всю свою силу, все способности сосредоточил на изучении биологии.

Неудивительно поэтому, что он скоро выделился среди студентов и был знаменит в университете не только отвратительной наружностью, но и обширностью познаний.

Уже тогда ему предсказывали блестящую будущность, хотя, конечно, никто не знал, на какую высоту славы и успеха поднимет его гений.

Двадцати трех лет он окончил университет и остался при нем, чтобы готовиться к кафедре. Двадцати пяти — защитил диссертацию на тему «О бактериях, как необходимых спутниках жизни высших организмов».

Еще через два года защитил вторую диссертацию и сделался профессором.

К этому времени его имя уже пользовалось почетной известностью в ученом мире России. Хребтов сделался, наконец, самым собою. Он дошел до вершины того пути, по которому подвигался с таким феноменальным упорством, со злобною энергией человека, предоставленного собственным силам, но не потерявшего присутствие духа и желающего торжествовать назло всем и всему.

Что же за человек из него вышел?

В смысле внешности он по-прежнему оставался возмутительною, злобною карикатурой на людскую породу. В смысле нравственном он представлял идеальную, научно мыслящую машину.

Все страсти и чувства его, постоянно подавляемые, молчали с раннего детства. Но за их счет развивались постоянно упражняемые в одном направлении умственные способности.

Поэтому во многих отношениях Хребтов был груб, примитивен, как дикарь, во всем же, что казалось реального

мышления, являлся типом более усовершенствованной расы, чем современные ему люди.

Он был парадоксален, как всякий гений.

Но зато какою обаятельною мощью обладал его ум!

Это был настоящий ум человека, призванный царствовать над природой.

Покорный только одной логике, свободный от влияния настроений, страстей и желаний.

Ум, словно порвавший последнюю связь с плотью и поднявшийся до высоты идеального мышления.

Неистощимый, неутомимый, способный одинаково легко взвешивать мировые идеи и ничтожные мелочи.

Ум — сознающий свою силу, гордящийся, наслаждающийся ею.

Он вызывал на бой научные проблемы и побеждал их. Сражался с природою и завоевывал ее тайны.

В упоении побед и славы, Хребтов нарочно выискивал самые трудные, самые неразрешенные задачи. Он брался за них при помощи колоссального терпения, феноменальной усидчивости, огромной памяти и поразительного количества знаний.

Он направлял на них свою мысль, так удивительно развитую, отточенную, отполированную, способную проникать везде, как лезвие острой стали.

Эта мысль разбивала преграду за преградой, прокладывая дорогу к истине, пока та не обнажалась перед человеком.

Тогда Хребтов брал истину своими грубыми крестьянскими руками и выносил ее к толпе. Толпа шумела, рукоплескала, удивлялась и кричала от восторга, а он спокойно возвращался к себе в берлогу, довольный только тем, что добился-таки своего.

На лице его играла улыбка при воспоминании о побежденных трудностях.

Совершенно так же улыбался дед Хребтова — хлебопашец, когда, окончивши тяжелую вспашку поля, садился на меже и отдыхал, вытирая пот с загорелого лица.

Как известно, бактериология полна тайн и предметов

для исследования более всякой другой области естественных наук. Поэтому работы Хребтова быстро следовали одна за другою, поражая совершенством методов исследования и богатством добытых результатов. Каждая из них служила ступенью к мировой славе и в сорок лет профессор мог похвастаться, что состоит почетным членом всех научных обществ Европы, что имя его известно всякому образованному человеку, что ему поклоняются люди, никогда его не видавшие, живущие от него за тысячи верст.

Завидное положение! Кто из нас, готовясь к той или иной общественной деятельности, не мечтал о подобном, прежде чем первые неудачи охладили его самоуверенный пыл?

Но Хребтов наслаждался успехом гораздо менее, чем можно предполагать.

Внимательно следя за всем, что про него говорили и писали, он с искренней радостью встречал каждую похвалу, каждую новую почесть; только радость эта была не светлая, не веселая, а мрачная и злая. Прочитывая хвалебную статью, рассматривая только что присланный диплом, он улыбался своею пастью гориллы и презрительно хрюкал, будто желая сказать:

«Ага, черт возьми, наконец-то вы, мелюзга, поняли, с кем имеете дело! Что, теперь, небось, восхищаетесь!»

А потом закидывал и статью и диплом куда-нибудь в угол, словно добавляя:

«Впрочем, чего вы стоите сами, того стоят и ваши похвалы».

Одним словом, его удовлетворение заключалось не в том, что он стоит выше людей, а в том, что люди стоят ниже его и чувствуют это.

Конечно, при таком положении вещей, около Хребтова не могла создаться атмосфера домашней славы и поклонения, которая больше чувствуется, слаще щекочет нервы, чем даже мировая известность. Теперь, как и в молодости, Хребтов был совершенно один; только причины одиночества имели разные.

Прежде люди отталкивали его за безобразную внешность, теперь он отталкивал людей, потому что смотрел на

всякого постороннего с худо скрытым раздражением, а подчас и с презрением. Старая, вкоренившаяся привычка к одиночеству заставляла его не подпускать близко к себе ни одну человеческую душу.

Была еще одна причина, отделявшая Хребтова глубокой пропастью от всего человечества: несмотря на свою славу, несмотря на грубый характер, на резкие манеры, он был страшно, болезненно застенчив.

У него в душе был вечно больной уголок, где неизгладимо запечатлевались все мельчайшие случаи, когда ему приходилось бывать в смешном или глупом положении или слышать насмешки и порицания.

Эти воспоминания были постоянно свежи, он часто переживал их со злобою и страданием, причем никак не мог простить людям, что, считая себя намного выше их, остается таким чувствительным к их суду.

Старая истина, что причиною застенчивости бывает чрезмерное самолюбие, как нельзя лучше подтверждалось на Хребтове, а застенчивость у людей его возраста и положения выражается обыкновенно злостною несообщительностью, которая всех отталкивает.

Даже университетская молодежь, такая экспансивная, такая восторженная, и та не питала любви к своему знаменитому профессору.

Его уважали, им гордились, но личность его была одного из наиболее непопулярных.

Часто молодой студент забывал о великих заслугах Хребтова, чтобы нарисовать карикатуру на его уродливую фигуру или, после встречи с ним в коридоре, рассказывал:

— Я встретил сегодня Хребтова. Он так на меня взглянул, что мне показалось, будто я проглотил живую жабу.

Вероятно, отношения были бы иными, если б Хребтов мог сблизиться со студентами хотя <бы> на почве науки, но он, при всех своих научных заслугах, был очень плохим профессором.

Правда, он любил свой предмет, но любил его эгоистически. Передавать свои знания другим было для него скучной обязанностью, исполняемой без всякого увлечения, да-

же с отвращением.

Никогда между ним и аудиторией не устанавливалось духовной связи. Студенты изнывали от скуки на его лекциях, тем более что говорил он настолько же плохо, насколько хорошо мыслил.

Недостаток умения ясно выражаться был отличительною чертою Хребтова, чертою, сложившейся под влиянием замкнутой одинокой жизни.

Ему никогда не приходилось рассказывать, делиться с кем-нибудь впечатлениями. Вспышек, увлечения, потребности высказаться не знала его угрюмая натура.

Поэтому и речь его поражала мертвенной сухостью, отсутствием красок. Ледяною скукой веяло от каждой из его неуклюжих фраз. Чувствовалось, что он говорит неохотно и будет доволен, когда придется замолчать.

Таким был Хребтов в общественной жизни. Еще менее привлекательным являлся он в своем частном, личном обиходе.

Пройдя школу нищеты, он почувствовал себя прямо-таки богачом, начавши получать профессорское жалованье. Однако деньги не побудили его предаться соблазнам жизни. Потребности его были сведены до минимума, вкусу к роскоши явиться было неоткуда, о развлечениях он не думал.

Наука давала достаточное содержание жизни. Об удобствах профессор заботился ровно настолько, чтобы всегда оставаться свежим и работоспособным.

Изящные искусства для него не существовали. Единственным произведением, привлекавшим внимание Хребтова, была восковая кукла в окне парикмахера, мимо которой он ежедневно проходил, направляясь в университет.

Эта особа с голыми руками, с накрашенными губами и чрезвычайно пышной грудью, сильно увлекала его. Он не пытался анализировать своего к ней отношения, но часто сожалел, что, вместо продолжения пышных форм, у нее сейчас же под декольте начинается черная лакированная подставка.

Об одежде профессора в университете рассказывали це-

лые легенды. Действительно, трудно себе представить человека, который меньше него думал бы о своем костюме.

У него никогда не было больше одной пары платья и одной пары сапог, приобретенных так же, как во времена бедности, в дешевом магазине готовых вещей.

Покупая и примеривая, он никогда не приближался к зеркалу, так что едва ли знал, какого цвета надетый на нем пиджак. Раз надевши платье, совершенно переставал о нем думать, не замечал, как отлетали пуговицы, как пятна реактивов и кислот испещряли полы, и искренне удивлялся, когда в один прекрасный день кухарка говорила ему:

— Вы бы, батюшка, купили себе новый пиджак, а то срамота одна — люди скажут, денег нет!

Эта старая баба, ленивая и фамильярная, была его единственную прислужгой, а также единственным человеком, причастным к личной жизни профессора.

Ее обязанностью было готовить обед, убирать квартиру и во всякое время дня и ночи носить в лабораторию чай, который Хребтов поглощал в огромном количестве.

Иногда, по вечерам, ей приходилось вести со своим хозяином долгие беседы о деревенских делах или о том, что происходит в соседних кухнях. Потому ли, что профессор умел в таких случаях опускаться до умственного уровня кухарки, или потому, что ее интересы были действительно ему по плечу, но он бывал в эти вечера гораздо более словоохотлив и оживлен, чем во всех других случаях своей жизни.

Жил Хребтов на краю Девичьего поля, в той переходной от города к деревни местности, украшенной заборами и пустырями, где отсутствует все, что есть удобного в городской жизни, но еще не начинаются прелести деревенской.

Впрочем, ни тех, ни других не было нужно профессору. Он чрезвычайно ценил свое невзрачное убежище за уединенность, спокойствие, а также за то, что был полновластным хозяином нанимаемого особнячка, между тем как, живя в многоэтажных городских ульях, невольно приходится считаться с массой неизвестных человеческих существ, кишящих со всех сторон за стенами, под полом, над потолком.

Еще студентом, проживая в углах, в меблированных комнатах, а потом в общежитии, всегда на виду у людей, всегда стремясь уйти от них как можно глубже в самого себя, Хребтов мечтал об уединенном убежище где-нибудь на краю города или в деревне.

Теперь эта мечта осуществилась. Квартира удовлетворяла профессора во всех отношениях. Зато она и носила на себе отпечаток его своеобразной натуры, как раковина носит отпечаток слизняка.

Лучшая комната в ней была отведена под помещение для экспериментируемых животных. Она являлась настоящим застенком современной науки, застенком душным, смрадным и отвратительным для всякого, в чьих глазах наука не представляется великим божеством, заслуживающим кровавых жертв.

Мебели здесь не было, зато вдоль стен стояли ряды клеток, наполненных кроликами, крысами, белыми мышами, кошками, обезьянами и голубями.

Некоторые из них только ждали опытов, другие уже мучились на пользу науки и человечества. Здесь постоянно можно было видеть судороги предсмертной агонии, широко раскрытые от боли и ужаса глаза, замирающие в конвульсиях лапы, пену, струящуюся сквозь стиснутые белые зубы.

Десять раз в день Хребтов посещал эту комнату. Спокойный, задумчивый, он ходил от клетки к клетке, отмечая в тетради результаты опытов.

Иногда он дотрагивался до какого-нибудь животного, чтобы лучше уяснить симптомы, иногда удовлетворенно улыбался, видя, что опыт дал ожидаемые результаты, но никогда ни тени сожаления не появлялось у него в глазах. Никогда выражение лица не смягчалось жалостью.

Здесь, наедине с животными, он сам производил впечатление зверя; зверя уродливого, мрачного и жестокого.

Следующая за этой комната была отведена под лабораторию и рабочий кабинет, где были произведены самые великие из его открытий. Если Хребтов чувствовал когда-нибудь, к чему-нибудь привязанность, то только к этой комнате. К ней его привязывал прочный, кошачий инстинкт,

устанавливающий некоторое общение между человеческою душою и неодушевленными предметами.

В здании университета профессор имел другую лабораторию, обставленную гораздо лучше, более обширную, но той он не любил и вел в ней лишь формальные работы.

Там он не чувствовал себя дома; там нельзя было запереться, нельзя было отделаться от сторожа, взгляд которого раздражал Хребтова, нельзя было вслух ругаться и бить посуду.

Там нельзя было кричать на ассистентов и гнать их из комнаты, как он проделывал дома по своей грубости, которую можно было сносить только во имя любви к науке.

Рядом с лабораторией находилась маленькая комната, отчасти библиотека, отчасти склад стеклянной посуды, а затем, самая тесная, самая поганая клетушка рядом с кухней была отведена для личных потребностей хозяина.

Здесь он спал, одевался, мылся, ел свой обед и ужин. Здесь он отдыхал и набивал папиросы.

Папиросы Хребтов всегда набивал сам, объясняя это тем, что такое занятие дает лучший отдых после напряженной умственной работы.

На самом же деле, он знал по опыту, что во время набивки папирос ему в голову приходят самые блестящие из его идей и гипотез.

Теперь перед нами выяснилась личность Хребтова, такая серая при всей ее мощи, развитая целиком в одном направлении, даже уродливая, потому что холодный, отвлеченный и сухой ум убил и задавил в ней все человеческое.

Чтобы изобразить в немногих словах духовный облик профессора, я сказал бы, что он состоит из головы сверхчеловека, приставленной к телу животного.

Но не следует думать, что Хребтов был совершенно свободен от человеческих страстишек и слабостей. Я не могу скрыть, что одна из них, самая низменная, самая подлая, имела над ним значительную власть.

Эта страстишка была — сребролюбие.

Не то что бы он был скупцом чистой воды или страдал манией накопления богатства. Просто, какой-то инстинкт

заставлял его дорожить золотом, хотя оно ему не было нужно, чувствовать удовлетворение по мере того, как сумма сбережений возрастала.

Каждый месяц он откладывал что-нибудь в деревянный, окованный жестью сундучок, стоявший под кроватью. При этом в душе его сладко шевелилось сознание, что многим, многим людям не хватает для полного счастья только пачек ассигнаций, которые он кладет на дно сундука и захлопывает крышкой.

Кроме науки, он любил во всем свете только деньги, но и эти две вещи ценил лишь за то, что они поднимали над толпою его, униженного уродством.

II

Вероятно, любовь к неразрешимым задачам побудила Хребтова взяться за исследование чумных бацилл.

Возможно также, что и сам образ чумы, мрачной, непобедимой и безжалостной, имел в глазах профессора некоторое обаяние.

Исключительно сильные, энергичные натуры любят грозные проявления стихийных сил природы. Холодный ужас чумы мог найти отзвуки в угрюмой душе Хребтова.

Как бы то ни было, однажды осенью особнячок на краю Девичьего поля был подвергнут тщательной изоляции и там начались работы с целью отыскать вполне пригодную лечебную и предохраняющую сыворотку против чумы. Возбужденный жаждою нового крупного успеха, профессор взялся за дело с необычайною энергией. Вся его квартира была заполнена культурами бацилл. Десятки опытов производились ежедневно. Сотни животных гибли от пробных прививок, оплачивая своею жизнью каждый шаг вперед.

Хребтов недосыпал, недоедал, осунулся, побледнел и сделался отвратительнее на вид, чем когда-либо.

Однако, несмотря на свою работоспособность, он не мог лично исполнять всех задуманных работ, не мог вдаваться

в детали, а предоставлял это помощникам, руководя лишь общим ходом исследования при помощи инстинкта ученого на пути к открытию.

Трое ассистентов, измученные массой работы, сбитые с толку разнообразием опытов, истомленные вечной боязнью заразиться, исполняли его приказания. Но ревнивый профессор не позволял им проникать в систему исследований. Он один имел в своих тетрадях всю совокупность добытых результатов, систематизировал, обобщал, делал выводы. Тетрадки с записями всюду следовали за ним и нередко кухарка, приходя утром, заставляла его спящим в кресле с таблицами опытов на коленях и крутом на полу.

Его фантастическая голова свешивалась на грудь, а морщины умственного напряжения даже во сне прорезывали лоб.

— Ишь ты, — говорила она, — так и не смог оторваться от своих бумажек. Небось, теперь уж скоро рехнется.

И спокойно уходила в кухню, а Хребтов оставался спать в одиночестве лаборатории, где царил призрак чумы, невидимо живущей в закупоренных банках, на объективных стеклах, в крови подвергнутых заражению животных.

Когда ассистенты являлись на работу и будили профессора, он казался им таким же мрачным, как вся окружающая обстановка, где каждый уголок мог скрывать смерть в виде освободившегося из плена бацилла.

Вероятно, поэтому они и придумали для него прозвище — «Профессор Чума», имевшее громадный успех в тех кругах, где близко знали Хребтова.

Зимние месяцы шли один за другим, а работа оставалась все такую же напряженной. Ассистенты изнемогали, им казалось, что этому конца не будет. Следя за возраставшей нервностью своего патрона, они утрачивали веру в его гений, начинали бояться, что он наткнулся на неразрешимую задачу, потерял руководящую нить опытов и теперь бросается из стороны в сторону, действуя наудачу, лишь бы не признать себя побежденным.

Каково же было их удивление, когда однажды утром, в начале марта, едва они пришли в лабораторию, профессор

заявил им, что исследования окончены.

Ассистенты прямо ошеломенели.

Как так? Еще вчера не было речи о прекращении работ. Профессор еще ни разу не заикнулся о полученных результатах. Ведь не понапрасну же они трудились?..

Но Хребтов, по-видимому, не собирался давать объяснения. Его поза показывала, что он не имеет ничего больше сообщить и ждет только ухода ассистентов.

Тогда один из них переспросил:

— Так, значит, наша работа кончена?

— Я уже говорил, что кончена! — отозвался профессор, плохо скрывая нетерпение.

— А каковы ее результаты?

Но тут Хребтов заворчал, как цепная собака:

— Результаты? Результаты исследований пока вот тут! — (он хлопнул себя по лбу). — Этого, кажется, достаточно. Через несколько времени выйдет моя книга о чуме и тогда вы все узнаете. Теперь же рассказывать про результаты было бы слишком долго, а мне время дорого.

И, видя, что ассистенты все еще мнутя, он добавил:

— Нечего говорить, что в предисловии я отмечу ваше сотрудничество и выражу благодарность за него.

После этого им оставалось только уйти, что они и сделали, возмущенные до глубины души обращением профессора. Пройдя шагов сто по улице, все трое сразу остановились и единодушно воскликнули:

— Вот так животное!

После чего продолжали путь, теряясь в догадках по поводу значения сегодняшнего случая.

Достиг ли профессор каких-нибудь результатов? Или ничего не добился и скрывает свою неудачу? А может быть, сошел с ума от напряженной работы и переутомления?

Все три предположения были одинаково вероятны, но какое из них ближе к истине — ассистенты так и не могли решить.

Между тем, Хребтов, оставшись один, готовился приступить к самой серьезной части исследования, к опыту, который являлся решительным поединком между ним и чумою

и мог иметь своим последствием или гибель ученого, или его полное торжество.

В своих исследованиях он дошел до такого состава сыворотки, который по всем теоретическим данным должен был исцелять от чумы.

Должен был исцелять; но исцелял или нет — можно было определить, только испытавши действие сыворотки на человеке.

Хребтов решил произвести опыт на самом себе.

Такое решение было им принято без всяких колебаний и волнений; оно было прямым логическим следствием всех предыдущих экспериментов над кроликами, крысами и мышами. Когда же дело шло о последовательности опытов, у профессора не могло возникнуть сомнения — нужно их доводить до конца или нет?

Чтобы не прервать цепь фактов, ведущих к открытию, он согласился бы подвергнуть вивисекции родного отца. Такая железная прямолинейность по существу чудовищна, но, так как в данном случае Хребтов применил ее к себе, то мы назовем ее геройством.

Обеспечивши себе полное одиночество до конца опыта отсылкою кухарки в деревню, профессор прежде всего озаботился заготовлением запаса еды, что при его нетребовательности было делом не слишком сложным. Потом принялся наглухо запираť все двери и окна своей квартиры, чтобы бациллы, которыми он себя заразит, не вырвались как-нибудь на свободу.

При этом занятии, ему невольно вспомнился его предшественник, немецкий доктор, который, заболев среди опытов чумою, заперся, как теперь Хребтов, и написал на стекле окна предостережение тем, кто мог прийти к нему на помощь.

Что-то дрогнуло в душе у профессора при таком воспоминании, но это было лишь бессознательное, инстинктивное волнение. Сознание же его оставалось невозмутимо спокойным. Он больше думал о технических подробностях прививки, чем о ее последствиях.

Так же методично, как всегда во время опытов, откупо-

рил он склянку с культурой бацилл, произвел заражение у себя на руке, наложил повязку и аккуратно отметил день и час в журнале.

Потом закурил папиросу и стал ходить по комнате. Какое-то тоскливое беспокойство поднималось со дна души вопреки усилиям воли. Он ничего не имел против риска, но казалось невыносимым в течении целого ряда дней ждать результата, сознавая, что носишь внутри себя смерть.

«Хоть бы скорее все шло....», — мелькнула у него мысль, но, видя, что начинает распускаться, он переменял направление мыслей и стал думать о великой силе невидимого.

Вот теперь он испытал такую же боль, какую испытывает ребенок при прививке оспы. Даже в технике операции нет разницы, а между тем, какая разница в последствиях!

Враждебная, невидимая сила впиалась в его тело. Профессор закрыл глаза, представляя, что теперь в нем происходит. Бактерии сначала зацепились в ране, на краю кровеносных сосудов. Потом поток крови начал их захватывать и нести с собою во мраке постепенно расширяющихся артерий и вен. Как они должны были хорошо себя почувствовать при этом! Может быть, по их прозрачным, слизистым телам пробежала дрожь плотского наслаждения, может быть, их опьяняет запах крови...

Верно лишь то, что ими овладела бешеная потребность размножения.

Мчась во тьме кровеносных сосудов, проникая во все ткани, то проплывая по микроскопическим, как они сами, капиллярам, то крутясь в необозримом пространстве крупных сосудов, то купаясь в горячей, алой влаге артерий, то отдаваясь более спокойному течению венозной крови, они размножаются, размножаются, размножаются.

Их число возрастает в такой прогрессии, какая может представиться лишь воспаленному мозгу сумасшедшего математика.

Секунды кажутся годами по сравнению с быстротою их размножения.

Миллионы — не более как единицы в сравнении с их числом.

Сила вихря, землетрясения, извержения вулкана — ничто перед силою их плодovitости.

Миллионы их гибнут в борьбе со здоровым организмом, а все-таки грозная армия растет и одерживает верх.

Вот они уже укрепились в своих избранных пунктах, внутри желез, переполнили все тело и размножаются, размножаются, размножаются....

Профессор открыл глаза. Голова у него кружилась от этих реальных и вместе фантастических образов, но он преодолел их ужас и сел набивать папиросы.

Довольно неожиданное занятие для человека, который сегодня жив, а завтра должен будет выиграть свою жизнь в кости у судьбы.

Укротитель, положивший голову в пасть льва, имеет такие же основания оставаться спокойным, как и Хребтов в эти минуты, но профессор знал, что чем обыденнее, чем мелочнее занятие, тем более оно способствует приведению души в ее обыденное, полусонное состояние. Он набивал папиросы и даже руки его нисколько не дрожали, и гильз портил он не больше, чем обыкновенно.

Зато через несколько дней, когда у него появились первые симптомы болезни, душевное равновесие профессора оказалось нарушенным. Тогда перестала помогать и набивка папирос. Им овладело безумное желание сейчас же вспрыснуть себе лечебную сыворотку.

Такое сильное желание, что день и ночь с ним приходилось бороться.

Однако ученый восторжествовал и сделал прививку лишь через шесть дней после заражения, дождавшись наступления самых грозных и характерных симптомов.

Следующий затем период был наиболее критическим и тяжелым. Температура повысилась, голова была словно в тумане, странные, тревожные мысли шли на ум.

В этот период Хребтов, никогда раньше не думавший о том, что жизнь прекрасна, осознал и понял, что в ней заключается великое благо.

Почему это так, чем хороша жизнь — он не сумел бы объяснить, но чувствовал, что привязан к ней всеми сила-

ми своей души.

А когда жар и недомогание достигли своего максимума, им овладело еще одно новое ощущение.

У него проснулась непреодолимая потребность кого-нибудь любить и быть кем-нибудь любимым. Смерть смотрела ему в глаза, но он думал не о ней, а о том, что если бы около него был преданный, ласковый человек, человек, которого можно было бы совсем, совсем не стесняться, то все тревоги, беспокойства, даже боль потеряли бы свою силу.

Он сам не знал, зачем ему нужна чья-нибудь близость. Может быть, он стал бы ласкаться, как ребенок, может быть, предоставил ласкать и успокаивать себя, пожалуй, даже заплакал бы тихими слезами, но, во всяком случае, единственное, чего профессор жаждал в эти минуты, было общение с какою-нибудь человеческой душой.

Беспросветное одиночество, бывшее до сих пор его стихией, вдруг начало давить, терзать бедного Хребтова, вызывая смутные мечты о любви и нежности у него, не умевшего любить, не знавшего, что такое нежность.

Впрочем, все это прошло вместе с болезнью и осталось в памяти, лишь как бред минувшей горячки.

Через девять дней после начала опыта успех был уже несомненен. Профессор был на пути к выздоровлению; значит, чума была побеждена и навеки лишена своей мощи.

Для Хребтова наступил момент расплаты за безустанную, напряженную работу и за беззаветную смелость последнего опыта.

Оставалось опубликовать результаты работ, чтобы овладеть великою, всемирною славой.

Но он с этим как-то не торопился.

Сложное чувство, смешанное из ревности, человеконенавистничества и самолюбия, мешало ему расстаться с знаменательной тайной.

Пока она была сохранена, он оставался единственным человеком, более сильным, нежели чума. Стоит ее опубликовать и всякий провинциальный фельдшер начнет пользоваться его открытием, как своим собственным.

К чему же спешить делиться с другими своим могуществом?

Кроме этих ощущений, в конце концов, довольно смутных, была другая причина, задержавшая выход в свет книги о чуме и способе ее излечения.

Железная энергия, не покидавшая профессора, пока цель не была достигнута, теперь значительно ослабела. Он уже не мог, как прежде, работать целыми днями, без передышки, чувствовал во всем организме какую-то расслабленность, утомление, по временам целыми часами сидел без дела или отправлялся бродить по городу, чего раньше с ним никогда не бывало.

Нервы его, после опыта с чумою, никак не могли окрепнуть.

Никогда еще не приходилось ему так определенно чувствовать свое настроение; то его охватывала беспричинная тоска, да такая, что весь мир становился постылым, то непонятное беспокойство гнало его из дома и побуждало ходить без всякой цели из улицы в улицу, то наступали приступы сильного раздражения, когда он был способен вымещать злость даже на неодушевленных предметах.

«Старею, распускаюсь, избаловался», — говорил профессор с горечью, но никак не мог забрать себя в руки.

А тут еще случилась одна встреча, окончательно выбившая его из прежней колеи. Однажды, возвращаясь с лекции в университете, он сел по обыкновению в конку, идущую на Девичье поле.

Сначала конка шла почти пустая, но при каждой остановке в нее кто-нибудь садился. Между прочим, вошли несколько барышень с папками в руках и уселись рядышком в углу, перешептываясь и пересмеиваясь.

Картина щебечущих таким образом молодых созданий бывает обыкновенно в высшей степени трогательна, потому что вперед можно знать, что они шепчут друг другу на ухо вещи, которые могли бы сказать во всеуслышание, и смеются не потому, чтобы в их разговоре был повод для этого, а потому, что они молоды, здоровы и счастливы.

Но профессор не любил разглядывать публику. К тому

же, чужой смех действовал ему на нервы. Поэтому он не обращал никакого внимания на компанию барышень, пока не услышал довольно громкий шепот:

— Так это Хребтов, тот... знаменитый.

Голос звучал детским восхищением, как у ребенка, восторгающегося перед клеткой с обезьянами. Взглянувши, профессор встретил пару блестящих, ясных глаз, глядевших на него без всякой церемонии, но и без привычного ему удивления.

Глаза принадлежали восхитительному девичьему личику с полуоткрытым ртом и белокурыми шелковистыми кудрями, выбивавшимися из-под шляпки.

Барышня неотступно глядела на него и была при этом так мила, что даже угрюмый профессор не удержался от улыбки, в ответ на которую она ласково засмеялась.

Ему стало и неловко и хорошо. Таким бесконечным доверием к жизни, к людям веяло от девушки, от ее свежего личика, от бесцеремонных взглядов, что Хребтову она показала существом из нового, незнакомого ему мира. Он опустил голову, постарался заняться прерванными мыслями, но они как-то плохо шли на ум и через минуту он поймал себя в том, что снова глядит на нее.

Конка, между тем, тряслась, дребезжала всеми своими окнами и шла дальше. То одна, то другая из компании барышень вставала, поспешно целовала подруг и исчезала на площадке. Когда доехали до Плющихи, в вагоне оставалась только та барышня, которая привлекла внимание Хребтова.

Лишившись возможности разговаривать, она, видимо, заскучала; раскрыла папку с нотами, бывшую в руках, что-то там посмотрела, потом захлопнула папку, невнимательным взглядом скользнула по вагону, заметила, что профессор на нее смотрит и опять ему улыбнулась.

Затем, считая, вероятно, обмен взглядов за достаточное вступление к знакомству, сказала:

— Какая отвратительная погода!

Хребтов, которого дети боялись, а женщины избегали, сначала растерялся, а потом с жаром ответил:

— О, да, ужасная! — Хотел еще что-нибудь добавить, но не знал, что сказать и осекся.

Она засмеялась своим светлым, серебристым смехом; вероятно, ей показалось забавным выражение, с каким профессор сказал свои слова. Потом сделалась очень серьезною и важно спросила:

— Ведь вы профессор Хребтов? Правда?

И, получивши подтверждение, добавила:

— Я очень рада, что увидела вас. Про вас так много приходится читать и слышать. Я первый раз в жизни вижу знаменитость!

И, отдавши своей минутной серьезностью дань его научным заслугам, снова начала улыбаться, потому что улыбка была естественным выражением ее лица.

Хребтов кое-как поблагодарил ее за комплимент, потом они перекинулись еще несколькими фразами и наконец простились добрыми друзьями, когда доехали до Девичьего поля.

— Меня зовут Надежда Александровна Крестовская, — сказала она, первая подавая профессору руку. Затем взяла свои ноты, легко соскочила с площадки и быстро пошла по тротуару.

Походка профессора была, наоборот, особенно медленная, так что, прежде чем скрыться в свою берлогу, он успел заметить, в какой дом она вошла.

Конец дня ученый провел беспокойно. Во-первых, работа у него не ладилась, во-вторых, домашняя обстановка казалась противной, надоевшей, невыносимой, в-третьих, он много думал про свою новую знакомую.

Никогда еще ему не приходилось сталкиваться с существом до такой степени противоположным его характеру, настроению, даже его взглядам на жизнь.

Ее искренность непосредственности и приветливость существа, выдавшего в жизни только хорошее, казались настоящим чудом ему, старому медведю, всех подозревавшему в дурных намерениях, не доверявшему ни одному человеку.

— Девчонка, глупый ребенок, — бормотал он, пожимая

плечами, между тем как на фоне пыльной, унылой лаборатории перед ним неотступно стояло хорошенькое, смеющееся полудетское личико с капризными золотистыми кудрями.

Это личико не выходило у него из головы до самого вечера, а когда он лег спать и потушил свечку, оно еще яснее стало представляться в темноте, так что профессор долго не спал, ворочался с боку на бок и напрасно старался занять свои мысли чумными бациллами.

Проснулся он с определенным сознанием, что вчера случилось нечто радостное, хорошее. Правда, вспомнивши точно, в чем было дело, он выругался и плюнул, однако покой его был нарушен очень основательно.

Целых два дня прошло у него в мыслях о Надежде Александровне и в досаде на себя. На третий ему удалось успокоиться, почти позабыть свою встречу, а на четвертый он опять увидел Крестовскую, возвращаясь из университета, в тот же час, в той же конке.

Обрадовался при этом ужасно. На него так и пахнуло теплом и весельем от ее милой фигурки; однако не знал, здороваться или нет. Она сама разрешила этот вопрос, пожавши ему руку, как старому знакомому.

После этого они проговорили очень весело и непринужденно от Арбатских ворот до Девичьего поля.

Я не знаю учреждения, более способствующего внезапным знакомствам и сближению, чем московские конки. Идут они медленно, с надрывающим душу звоном и дребезжанием.

Концы в них приходится проезжать огромные, то взбираясь на знаменитые московские горы, то спускаясь с них, то мчась изо всех сил, когда к обычной паре лошадей пристегнут еще тройку, то подвигаясь черепашным ходом, когда пара одров и сонный кучер оказываются предоставленными самим себе.

Вот сидишь, трясешься, читаешь от нечего делать объявления, усеивающие потолок и скучаешь, отчаянно скучаешь.

Скука, как известно служит главным фактором общест-венности в современном мире, а москвичи, вообще говоря,

охотники поговорить. Поэтому кончаешь всегда тем, что найдешь себе собеседника по сердцу, с которым пускаешься в разговоры с той непринужденностью, которую вызывает мысль, что, наверное, никогда больше не встретишь сегодняшнего компаньона.

Мне приходилось выслушивать в московской конке целые исповеди от незнакомых людей, соболеznовать, давать советы.

Однажды был даже случай, что во время переезда от Кудринской площади до Сухаревой башни я уговорил жениться одного молодого человека, который перед этим колебался целых полгода.

Неудивительно, поэтому, что Хребтов узнал в конке все подробности жизни Надежды Александровны, этой простой, светлой жизни, богатой только мечтами.

Он узнал, что она учится в консерватории и скоро кончает курс.

Узнал, что голос у нее хорош, но для оперы, пожалуй, слаб.

Узнал (и на это обратил особенное внимание), что она каждый день в четыре часа едет по конке на Девичье поле, возвращаясь из консерватории к замужней сестре, у которой живет.

Кроме того, ему стало известно, что Надежда Александровна очень веселая, что у нее много подруг, что в доме ее сестры собирается много гостей, главным образом молодежи и притом студентов.

Последнее его слегка огорчило. Он так и представил себе фигуру студента-белоподкладочника, который, крутя усы и выпячивая грудь, вертится около этой славной барышни.

Неприятная картина! Но облако скоро рассеялось, потому что ее резвая болтовня требовала напряженного внимания, а следя за нею внимательно, нельзя было не поддаться обаянию светлых глаз, красивого личика, свежего рта с жемчужными зубами.

Во время разговора, Крестовская часто поправляла выбивающиеся из-под шляпки пряди волос. При этом профессор обратил внимание на красивую, нежную руку.

Чуть ли не первый раз в жизни ему пришлось подметить разницу между мужскою рукой и женскою, но, тем не менее, он сразу понял всю прелесть последней.

Когда конка дошла до Девичьего поля и им пришлось расстаться, профессор прощался со своею знакомой не без грусти, хотя уже предчувствовал, что они еще встретятся.

С этого дня, в уединенной лаборатории, где до сих пор царил величественный, мрачный призрак чумы, начал царствовать новый образ, образ нежной, веселой и приветливой девушки с солнечным лицом и прядями волос, выбивающимися из-под шляпы.

Если раньше Хребтов думал о ней целых два дня и только на третий смог забыть, то теперь он совсем отдался думам и воспоминаниям о Надежде Александровне.

Они его опьяняли, волновали, дразнили. Они примешивались к его исследованиям над бактериями, к его лекциям; словом, ко всему, чем он ни занимался.

Материала для таких мыслей хватало, потому что каждые два-три дня Хребтов встречался с барышнею в конке и потом бесконечно переживал впечатления встреч.

Странно только то, что, постоянно думая об одном, Хребтов старался не задавать себе вопроса, — что это значит. Он заранее стыдился ответа на такой вопрос; он поддавался увлечению, но утешал себя мыслью, что это пустяки, что стоит встряхнуться и все пройдет.

А между тем, сон его становился все беспокойнее и в глазах по временам появлялось выражение, делавшее эту полудляскую физиономию окончательно похожей на голову зверя.

Недели полторы спустя после начала знакомства, встретившись, по обыкновению, в конке, Крестовская сообщила профессору, что поет в благотворительном концерте и тут же вручила билет, за который он, не без сердечной боли, должен был заплатить несколько рублей.

Эта трата немного отрезвила его и заставила подвергнуть анализу свои чувства.

Придя домой, он положил билет на стол, долго рассматривал его молча, затем уперся руками в бока и с искрен-

ним удивлением спросил:

— За каким чертом я поеду в концерт? чего я там не видал?

Ему до такой степени казалось странною мысль, что он готовится пуститься в свет, что он ничем не мог заняться весь вечер, ругался, плевался, говорил о непростительной слабохарактерности, принял твердое решение не ехать и лег в постель, полный горячего сожаления об истраченных рублях.

Но утро, как известно, мудренее вечера. Проснувшись, Хребтов уже глядел на дело совсем иначе. Отчего не поехать, раз деньги заплачены. Не пропадать же билету даром? Ведь не дурак он, чтобы бросать деньги на ветер.

И много еще кое-чего нашлось у него в запасе для доказательства необходимости ехать, за исключением, разумеется, чистосердечного признания в желании видеть Крестовскую. В результате, публика еще лишь наполовину наполнила зал консерватории, когда там появился Хребтов.

Яркое освещение зала, публика в праздничных нарядах, с праздничными лицами, аромат духов, смешанных с тонким запахом человеческого тела, все это больно ударило его по нервам. Он вдруг до боли почувствовал свое уродство, серость и мешковатость.

Стыдясь своего старого пиджака, стыдясь своего лица, пробрался профессор на место и ждал начала, бросая исподлобья сердитые взгляды по сторонам, как злая, дикая собака, готовая укусить первого, кто к ней подойдет.

Начавшаяся музыка немного развлекла его. Он первый раз был в концерте, но, прослушавши несколько номеров, нашел это малоинтересным.

Когда-то, давно, ему пришлось быть в опере. Там было куда веселее. Были декорации, были пестрые костюмы, на все это приятно было поглядеть, а тут выходят люди, играют, поют и больше ничего. Неужели из-за этого стоит покупать билет, наряжаться и ехать?

И, пробежавши косым взглядом по рядам слушателей, он искренне заподозрил, что все они только притворяются, будто музыка доставляет им наслаждение.

Наконец, на эстраде появилась Надежда Александровна. У Хребтова замерла злость, замолкли все рассуждения. Он впился в нее взглядом, узнавал и не узнавал ее.

Это ее милое, солнечное личико, полное оживления, глядит в зал с эстрады; ее непокорные волосы золотятся надо лбом в лучах электрической люстры, но вместе с тем, насколько она обаятельнее, величественнее и прекраснее молоденькой барышни в конке!

Она похожа на принцессу из сказки. Блестящие складки материи грациозно обливают стройную фигуру, тонкие руки до локтя затянуты перчатками. Она смотрит на людей сверху вниз и гордая, нервная улыбка бродит по пурпуровым губам.

Хребтов взглянул на нежное молодое тело, сверкавшее сквозь вырез ее платья, и кровь прилила у него к голове. Ему припомнилась восковая красавица в окне парикмахера, дразнившая взгляды обнаженным, пышным телом.

Крестовская пела, раскланивалась в ответ на аплодисменты и снова пела, но Хребтов не слышал ни звука. Он смотрел и этого было достаточно, чтобы заполнить все его нервы ощущениями. Он видел, как нагибалась при поклонах и снова выпрямлялась ее грациозная фигурка, как напрягалось ее нежное, обнаженное горло при сильных нотах, видел, как жил и дышал вырез ее платья, то бледнея, то заливаясь пурпуром молодой горячей крови.

Он чувствовал, что какое-то огромное ощущение охватывает его с необычайной силой, рассеивает все мысли и наполняет его страданием и счастьем.

Только когда Надежда Александровна скрылась, к нему вернулась способность рассуждать.

«Мне нездоровится, — сказал он, чувствуя, что голова у него кружится, что все тело связано какою-то слабостью. — Это, наверное, от непривычки к концертам. Нужно скорее уйти».

Однако, поглядевши в сторону выхода, решил ждать антракта, потому что побоялся встать, привлекая к себе всеобщее внимание, и пробраться через ряды публики, казавшейся ему враждебной и насмешливой.

Пришлось прослушать еще несколько номеров, что было для профессора настоящим мучением. Ему неудержимо хотелось скорее скрыться, скорее быть у себя. Смутное, болезненное беспокойство превращало в пытку необходимость сидеть неподвижно и слушать, как бритый господин с жирным и сладким лицом, закатывая глаза, поет чувствительные романсы.

Ах, с каким чувством ругал Хребтов про себя этого певца и всех людей, которые аплодировали ему, подносили букеты, устраивали овации.

Наконец наступил желанный момент бегства, так как первое отделение кончилось. Когда он спасался из зала, согнувшись и не глядя по сторонам, его вдруг окликнул голос Надежды Александровны:

— Здравствуйте, профессор!

Она стояла в дверях под руку с каким-то господином, которого отрекомендовала как доктора Михайлова, мужа своей сестры. На ней было то же платье, она была так же прекрасна и вся сияла чудным, молодым волнением.

Начала благодарить Хребтова за то, что он пришел, и не кончила. Спросила, как ему понравилось ее пение, и не дождалась ответа: толпа в зале целиком поглощала ее внимание. Не отдельные лица, а именно вся толпа со своей атмосферой веселья, шума, беззаботности, праздничных нарядов и духов.

Хребтов простоял около нее минут пять. Он рассеянно слушал комплименты Михайлова, который приглашал его как-нибудь зайти к ним и, не отрываясь, смотрел на Крестовскую тяжелым, воспаленным взглядом. Этот взгляд сильно ее смущал. Она пробовала заговорить с профессором, но он был как во сне и едва отвечал. Пробовала отворачиваться, смотреть по сторонам, но не переставала чувствовать, как в нее впиваются его красные, безумные глаза.

Праздничное настроение начало сменяться в ней ощущением ужаса и гадливости. По счастью, антракт в это время кончился, так что Хребтов волей-неволей должен был уйти.

— Какой он уродливый, — сказала она своему спутнику, как только профессор удалился. — Чистый горилла, только еще противнее!

— Да, но не забывай, что это величайший ум мира! — важно отозвался доктор, который, будучи сам человеком недалеким, с особенно фанатическим поклонением относился ко всем знаменитостям.

А в это время внизу, в швейцарской, Хребтов надевал свои галоши и старался найти в кошельке самую мелкую серебряную монету, чтобы дать на чай швейцару.

III

Любовь выражается в бесконечно разнообразных формах.

Бывает она веселою и радостной, нежной и благоухающей, как прелестный весенний день.

Такова любовь здоровых, юных душ на фоне дождя из роз, на фоне ясного, безоблачного неба.

Бывает она знойной, как горячий летний полдень, подчас мучительно знойной, полной горячею страстью, с поцелуями, похожими на укусы, с судорожными объятиями, с расширенными зрачками, с бледными, искаженными лицами.

Бывает любовь нежная, элегическая, полная сладкою грустью серого осеннего дня.

Она состоит тогда из печальных улыбок, из поцелуев сквозь слезы, из тихих рокошующих речей, из постоянного предчувствия разлуки, написанного в милых глазах.

Но любовь Хребтова носила совсем иной характер. Она явилась слишком поздно, явилась непрошеною гостьей и была болезненная, уродливая, пугающая и отталкивающая.

Она разрушила так хорошо налаженную жизнь профессора, выбила его из колеи, бросила в пучину новых, чуждых, противоречащих складу его характера ощущений, перед лицом которых ум и логика были бессильны.

Этот человек, так обаятельно прекрасный в роли ученого мыслителя, в новой роли влюбленного оказался смешным, уродливым, жалким.

Он стал похож на больного зверя, который не может определить причину своего страдания, не может от него избавиться и угрюмо страдает, злобствуя на всех окружающих.

Своеобразно сложившаяся жизнь убила в Хребтове много человеческих черт. Поэтому, полюбивши, он оказался глубоко беспомощным.

Ни разобраться в своих ощущениях, ни бороться с ними он не мог.

Они преследовали его непрерывно, тревожили, мучили, как легион бесов, и очень часто, придя в отчаяние, он метался по лаборатории с ревом и ругательствами, словно настоящий бесноватый.

Дело доходило до того, что профессор начинал чувствовать острую ненависть к самому себе; пытаясь забыться, целые ночи бегал по улицам, запирался в лаборатории и работал без перерыва с утра до ночи, каждую минуту усилием воли возвращая непослушную мысль к предмету занятий.

Но ничто не помогало.

Страсть была сильнее всего. :

Она жила в нем, как его второе «я», гораздо более сильное, чем воля и рассудок.

Прежний, нормальный Хребтов злился, ругался, сопротивлялся руками и ногами, но новый Хребтов или диавол, который в него вселился, делал свое дело.

Например, выходя на улицу после концерта, профессор твердо решил не пользоваться приглашением доктора Михайлова.

Но два ближайших дня прошли в борьбе между принятым решением и желанием повидать Крестовскую, а на третий — он попросту увидел, что не пойти — невозможно.

Взял шляпу, надел пальто и отправился.

У доктора приняли его с почетом и радостью. Не знали, куда посадить, какими разговорами занять. Надежда Александровна была очень горда, что доставила семье такого гостя и, чтобы доказать, что честь посещения знаменитости

принадлежит главным образом ей, не отходила от него целый вечер.

Несмотря на это, профессор провел время довольно мучительно.

Всякий, кому приходилось переживать муки застенчивости, поймет это. Ведь Хребтов чуть ли ни первый раз в жизни был в гостях. Слава ученого не давала здесь ему почвы под ногами; он совершенно не знал, как и о чем разговаривать, не знал, как сидеть, пить чай, как прощаться и уходить.

Его преследовала уверенность, что он делает все это иначе, чем полагается. Даже крайняя почтительность хозяина не могла придать ему апломба и, выйдя от Михайловых, он почувствовал себя, как человек, сбросивший с плеч большую тяжесть.

— Уф... другой раз калачом не заманишь! — пробормотал он, облегченно вздыхая.

Однако, в то же время, где-то в глубине души мелькнуло сознание, что, пожалуй, он еще не раз вернется в этот дом.

Так пьяница дает торжественное обещание никогда не брать в рот капли спиртного, а в то же время знает, что обещание будет нарушено.

Действительно, несколько ближайших дней прошло в томительном беспокойстве, в тоске и злобе против всего мира.

Занятия не клеились, из опытов ничего не выходило, профессор чаще, чем когда-либо, бил лабораторную посуду, а кухарке его пришлось выслушать в течение двух дней годовую порцию ругательств.

Наконец он почувствовал, что дальше так продолжаться не может, что необходимо повидать Крестовскую.

Тогда он пошел к Михайловым второй раз.

Третий раз его тянуло еще сильнее, а внутренняя борьба была не такой энергичной и кончилось тем, что Хребтов сделался постоянным посетителем семьи доктора Михайлова.

Ближайшим последствием этого было то, что он поте-

рял в ее глазах прелесть новизны. Женщины первые перестали видеть вокруг его головы ореол великого человека и, оценивая Хребтова, как обыкновенного знакомого, нашли его противным, скучным, неловким, вообще чем-то вроде балласта среди своих посетителей.

Надежда Александровна перестала им интересоваться. Ее сестра была настолько любезна, насколько требовало гостеприимство. Один доктор по-прежнему млеял от радости, запросто принимая у себя «самого» Хребтова.

Но его то, как раз, профессор ненавидел до глубины души за вечное приставание с научными разговорами.

Есть особый оттенок настроения, когда по внешности человека видно, что он зол и в то же время чувствует себя глубоко несчастным. Появляясь в обществе, Хребтов имел именно такой вид, несмотря на то, что общество, собиравшееся у Михайловых, было очень симпатичное и веселое.

Оно состояло, по преимуществу, из молодых людей, жизнерадостных, шумливых, связанных между собой теснейшими симпатиями, поэтому чуждых стеснения.

Легко себе представить, каким диссонансом являлся среди них профессор.

Мрачный, уродливый, молчаливый, неподвижно сидел он целыми вечерами в углу, следя глазами за Надеждой Александровной, не обращая внимания на раздающийся кругом разговор, шутки и смех.

При взгляде на него, каждый невольно спрашивал себя: «Зачем этот человек здесь?» И всякий чувствовал, что присутствие Хребтова отравляет веселье, стесняет непринужденность, прогоняет беззаботность, как присутствие мумии на веселом пиру.

Не чувствовал этого только сам профессор. Будь он немного более опытен в светских отношениях, он постарался бы, конечно, вести себя иначе, но во всем, что выходило за пределы науки, он был дикарем или ребенком, так что совершенно не отдавал себе отчета в том, как к нему относятся окружающие.

Понятие о необходимости лгать, притворяться, симулировать какое-либо настроение совершенно у него отсутство-

вало. Он был глубоко непосредствен, делал только то, что ему хотелось, и в гостиной, среди шумного общества, или при чайном столе, под гул перекрестных разговоров, оставался обыкновенным, домашним Хребтовым.

Этого было достаточно, чтобы создать вокруг него атмосферу неприязненной иронии.

Европейская слава, научные заслуги не спасли его от этого, а когда окружающие заметили, как он смотрит на Надежду Александровну, то и последнее уважение к нему пропало.

Мы все бываем влюблены, но ничто не подрывает в наших глазах репутацию ближнего так сильно, как известие, что он влюблен.

Это кажется нам признаком величайшей слабости, чуть ли ни глупости, мы сейчас же начинаем относиться свысока к такому человеку.

Всякий дурак считает себя вправе смеяться над влюбленным, как бы тот ни был умен.

Бедный Хребтов! Всю жизнь люди его чуждались, но он, гордый и сильный, шел мимо них, отвечая нелюдимостью и злобой. Наконец, он вошел в их круг, и что же? только для того, чтобы сделаться предметом насмешек.

Гений из гениев у себя в лаборатории, человек, силе которого покорялась природа, предмет уважения всего мира, кончивши работу и придя к Михайловым, он из титана превращался в шута.

Студенты и гимназистки, курсистки и консерваторки, — приветствовали его появление скрытыми смешками и шепотом:

— А, наш Ромео! какой он веселый!

— Вот он, влюбленный горилла!.. Господа, он не кусается?

— Спросите у Надежды Александровны.

— Наденька, я вам завидую. Такого поклонника можно показывать за деньги.

Каждый спешил сказать хорошую или плохую остроту на его счет, но Хребтов ничего не замечал.

Он бесконечно мало интересовался этою кучкой жужжа-

щих людей. Рассеянно пожимал всем руки и усаживался в угол так, чтобы можно было следить за Крестовской.

Обыкновенно кто-нибудь из хозяев считал необходимым обменяться с ним, для приличия, несколькими фразами. Затем его оставляли в покое, и он молчал до конца вечера, радуясь, что его не тревожат.

Было в его ощущениях нечто похожее на ощущения морфиномана. Пока он видел Надежду Александровну, слышал ее голос, — весь организм его жил особенной, полной и радостной жизнью.

Что-то трепетало в нем, какие-то неясные ощущения наполняли душу.

Но едва кончался вечер и профессор уходил от Михайловых, он просыпался, возвращаясь к обычной, скучной и тяжелой жизни.

Он начинал чувствовать тяжесть себя самого, а душа была мучительно пустою.

И потом все утра, все дни, все вечера он тосковал по неопределенным, сладким ощущениям.

Конечно, такое положение вещей не могло тянуться долго. Оно было ненормальным, болезненным, а болезни принимают затяжной характер только у слабых натур. У сильных они разражаются быстрыми, бурными кризисами.

Так говорит медицина человеческого тела; медицина человеческой души могла бы сказать то же самое.

Поэтому Хребтов, по своему характеру неспособный к платоническому чувству, не мог долго мучиться и вздыхать в роли пассивного влюбленного.

Должен был наступить кризис и толкнуть его на дорогу активной страсти, не замечающей препятствий, не советуемой с разумом, превращающей холодного мыслителя в маниака.

Такой перелом, после которого чувство становится хозяином человека, произошел в Хребтове месяца через два после первого знакомства с Крестовской.

Это было в начале мая. Возвращаясь поздно вечером от Михайловых, он соблазнился чудной погодой и долго пробродил вокруг Девичьего поля, охваченный волнением, ко-

торого сам не мог понять, гонимый беспокойством, с которым не мог справиться.

Сердце у него билось, как у шестнадцатилетнего юноши, лицо горело, словно от лихорадки.

Эти темные, теплые майские ночи имеют удивительное свойство выбивать человека из колеи, заставляя мечтать даже самых прозаических людей.

Они дразнят чувственность теплыми объятиями нежного воздуха, действуют на нервы глубокою тишиной и темнотою, вызывают мистическое настроение бесконечностью глубины своего неба.

Такая ночь врывается за человеком в комнату, отгоняет сон, создает атмосферу таинственного, нереального мира, заставляет пережить, перечувствовать с замиранием сердца тысячу вещей, которые назавтра кажутся глупыми и смешными.

Неудивительно, поэтому, что именно в эту ночь Хребтов вступил в последнюю борьбу с овладевшей им страстью, — в борьбу, результатом которой было полное поражение.

Вернувшись домой, он не зажег лампы и проходил по темной лаборатории от вечера до рассвета, прислушиваясь к неясным ночным звукам, напрасно придумывая способ уйти из-под власти того, что толкало его к Надежде Александровне.

Он призывал на помощь самолюбие, — свое дьявольское самолюбие, развившееся в силу всеобщего отвращения, которое его окружало с детства и за которое он отомстил своим успехом.

Но самолюбие не могло бороться со страстью. Он ясно чувствовал, что поступится чем угодно, что пойдет в рабство, лишь бы добиться обладания любимой женщиной.

Он призывал на помощь долголетнюю привычку к уединенной, аскетической жизни, к трезвой работе, направленной на предметы высшего порядка.

Но прошлая жизнь вставала перед ним такой бесконечно серой, скучной и печальной, что он сам отступал от нее с содроганием.

Он призывал на помощь свой ум, свою стальную логи-

ку, но напрасно.

Этот ум, могучий, светлый, ясный, оказывался бессильным, не мог выставить доводов достаточно сильных, чтобы заставить смолкнуть страсть.

Едва он заканчивал свое логическое построение, едва говорил, что Хребтову поздно любить, что это смешно и глупо, как в душе профессора другой голос, более сильный, возражал, что не любить — невозможно.

Так что, когда наступил рассвет, у Хребтова не осталось нерешенных вопросов. Он примирился с тем, что в данный момент для него нет на свете ничего важного и дорогого, кроме Надежды Александровны, что вся жизнь его — в ней и что все силы его должны быть направлены на достижение обладания ею.

Другой, на его месте, понял бы, как это невозможно, но ведь Хребтов был ребенком в самых элементарных житейских вопросах. Чем больше он думал о женитьбе на Крестовской, тем более этот брак казался ему возможным.

Он знаменит, имеет свои сбережения, которые хоть невелики, но покажутся ей богатством после жизни из милости у родственников.

Правда, она его не любит, но, кажется, относится к нему симпатично. Мало ли браков заключается без любви! говорят даже, что такие бывают самыми счастливыми.

Первый раз профессору пришла мысль, что, как жених, он представляет хорошую партию. Это обстоятельство доставило ему такое удовлетворение, будто он открыл у себя новый талант.

И усевшись, наконец, потому что ноги заболели от бесконечной ходьбы взад и вперед, он погрузился в дальнейшее развитие своих планов, на каждом шагу пожимая плечами и с улыбкою спрашивая самого себя:

«Отчего же нет? Чем я хуже других?»

Бедное чудовище! Никогда еще мечты любви не рождались в более уродливой голове; никогда еще майская ночь не шептала свою опасную сказку более отвратительному созданию!..

Может быть, если бы кто-нибудь принес зеркало и по-

ставил его внезапно перед профессором, его счастливая уверенность пропала бы, но зеркала в комнате не было, сам же он, увлеченный блестящими проектами, забыл про свою наружность или не отдавал себе отчета в том, до какой степени она ужасна.

По крайней мере, ложась спать в пять часов утра, он чувствовал себя спокойным, уверенным, счастливым и его смущала только забота о том, как бы поделикатнее сделать предложение.

Впрочем, мысль его часто перескакивала через эту скучную процедуру и начинала рисовать все прелести обладания молодой, обворожительной девушкой.

Да, как это ни странно, профессор Хребтов вдруг научился мечтать и мечтал, глядя на яркий четырехугольник солнечного света на полу около постели до тех пор, пока не заснул сладким, крепким сном.

Через несколько часов, когда солнечное пятно, постепенно перебираясь от стула с ворохом смятого платья к паре стоптанных туфель и от туфель к постели с грубым, несвежим бельем, дошло наконец до лица Хребтова, он проснулся и сразу соскочил с кровати, как человек, которого и во сне не покидало волнение.

Сначала бессмысленно оглядывался кругом, потом вспомнил, что ему предстоит сделать сегодня предложение и при этой мысли сразу сел обратно на постель.

Как он ни расхрабрился накануне, все же задуманное дело показалось ему теперь чрезвычайно трудным.

Понадобилось по крайней мере пять минут размышления, прежде чем он махнул рукою и, сказав: «Все равно, надо это кончить!» — начал одеваться.

Одевался, разумеется, не как-нибудь, а с особым старанием. Почистил пиджак, приказал вычистить сапоги, скрепя сердце заглянул в зеркало и нашел, что его обычная прическа — пряди растрепанных волос на полуобнаженном черепе — нехороша, облил голову водой и тщательно пригладил все космы.

Получилось еще хуже — голова выглядела как облизанная. Он попытался опять взлохматить волосы, но, смо-

ченные, они висели какими-то нелепыми косицами.

Профессор окончательно растерялся и почувствовал себя глубоко беспомощным.

Ведь не ждать же, пока волосы высохнут?...

По счастью, другие принадлежности туалета отвлекли его внимание, так что он совершенно забыл о прическе.

Его единственный пиджак был уже довольно поношен. На нем не хватало целого ряда пуговиц. Галстук был черный, вытертый по краям, что, пожалуй, не подходило для жениха.

Сначала профессор думал поехать в город и там одеться заново, потом решил, что такая отсрочка была бы невыносимой, закончил туалет как попало и отправился в путь.

Незачем описывать, что он пережил по дороге. Каждому известно по собственному опыту это состояние, когда время тянется с убийственной медленностью, когда расстояние от одной улицы до другой превращается в бесконечно длинную дорогу, когда человек в течение одной минуты десять раз жалеет, что живет на свете.

Никакая дисциплина воли не может побороть такое волнение. Хребтов дрожал с головы до ног, стоя перед знакомою дверью. По спине пробежал мороз, он задышался, хотя пробежал всего десяток ступеней.

Дверь открылась. Толстая баба в платке — типичная прислуга небогатых московских домов, — с удивлением поглядела на раннего посетителя.

— Барышня дома?

— Дома. Собирается в консерваторию. А что это вы, барин, такой бледный? Иль что случилось?

Хребтов даже не обратил внимания на последний вопрос. Он близко подошел к бабе, говоря самым убедительным тоном, на какой был способен:

— Скажи барышне, что я непременно хочу поговорить с нею наедине. Понимаешь, непременно наедине. Скажи, что очень важное дело.

Прислуга, заинтересованная до глубины своей сплетнической души, побоялась расспрашивать и зашлепала туфлями, отправляясь с докладом. Хребтов же прошел в гостиную.

Знакомый вид этой комнаты вдруг поразил его, как будто, носясь в мире грез, он встретил уголок привычной, прозаической действительности.

Вчерашний день, кажущийся таким далеким вследствие бессонной ночи, припоминался ему при взгляде на подробности обстановки.

Вот на этом кресле он сидел вчера и все кругом было так просто, обыденно, жизнь текла такой славной, мирной колеей.

«Господи, и зачем это я?...» — думает он испуганно, но в то же время чувствует, что возврата нет, что уже и сам он не может изменить принятого намерения, что сейчас, здесь, все должно решиться.

Это необходимо; это неизбежно!

Бессонная ночь, мечты, расчеты, соображения, все это уплыло в даль, словно стерлось и потускнело. Осталось только принятое решение, которое как внешняя сила управляет им, потому что он слишком взволнован, слишком растерялся, чтобы изменить его или принять новое.

Да и времени нет на размышление — за дверью слышен шорох, легкие шаги. Это она. Хребтов чувствует, что силы покидают его. Он падает в кресло. Как он ни силен характером, но и у него кружится голова при мысли, что вот сейчас, в этой комнате, он встретится лицом к лицу с собственной судьбою.

Дверь отворяется и входит Надежда Александровна. Она старается казаться спокойной, но на ее детски-выразительном лице можно прочесть смущение и даже страх перед объяснением, характер которого она угадывает.

Они оба как во сне. Здравуются, с трудом произнося какие-то привычные слова, потом садятся. Он долго на нее смотрит и чувствует, что его сомнения разлетелись, что все кругом куда-то исчезло, словно провалилось. Исчезла и комната, и освещенная солнцем улица за окнами, исчез весь мир, осталась только эта чудная женщина, которую он любит каждою мыслью, каждым нервом, каждою фиброю своего тела.

С трудом удастся ему отыскать в своей памяти подхо-

дящие слова. Когда он заговорил, его голос поразил его самого хрипящим, сдавленным, нечеловеческим звуком.

— Я пришел, чтобы сказать вещь, которая, может быть, удивит вас, если вы сами ничего не заметили.

Я долго думал, долго боролся с собою, прежде чем прийти... У меня нет большой надежды на благоприятный ответ, но молчать дальше я не в состоянии.

Мне кажется, вы не обидитесь, если я стану говорить совершенно искренне...

Он смолкает, ожидая какого-нибудь поощрения, но напрасно.

Ни одного звука, ни одного слова, ни одного взгляда с ее стороны. Видно только, что она покраснела и не знает, куда деваться от волнения.

Хребтов продолжает:

— Может быть, я говорю неясно, но вещь, которую хочу сказать, очень проста.

Я люблю вас, Надежда Александровна, и жить без вас для меня невозможно».

Она вздрагивает и инстинктивным жестом отодвигается от него подальше. Но он, ободренный тем, что самое трудное слово наконец сказано, начинает говорить свободнее и горячее.

— Я никогда не любил раньше, на этот же раз люблю безумно. Все ночи напролет думаю о вас. Для меня ни в чем нет больше интереса. Мне нужны вы и больше ничего на свете...

Его руки делают какой-то нелепый жест в воздухе и падают на колени. Наступает минута молчания.

Крестовская встает, стараясь не глядеть на профессора, потому что лицо его в этот момент отвратительнее, чем когда-либо.

Голос ее звучит обидою, когда она произносит:

— Но ведь не думаете же вы, что я вас люблю!

Однако эти слова не обескураживают Хребтова. Он и раньше знал, что она его не любит. Он не смеет рассчитывать на любовь. Он пришел просить только дружбы, доверия, уважения. Он хочет, чтобы она позволила ему сделать ее сча-

стливой. Он поделится с нею своей славой; он окружит ее роскошью, даст в ее распоряжение много денег.

Разве только те браки бывают счастливы, которые совершаются по любви?

Напоминание о деньгах показалось Крестовской оскорблением. Последние остатки доброго чувства к несчастному, которое она принесла с собою в эту комнату, исчезают.

Она уже не отвертывается от профессора, жалея его уродство, а смотрит на него прямо, радуясь его безобразию, потому что весь он стал ей противен и гадок.

Но он этого не замечает. Его состояние близко к экстазу. Ему так необходимо убедить ее, что, исчерпавши все доводы, он повторяет одно и то же по несколько раз, произносит какие-то бессмысленные фразы, отрывки мыслей, прошедших через его голову в течение прошлой ночи.

Он говорит, размахивая руками, тысяча гримас сменяется у него на лице. Его уродливый корпус паука раскачивается, изгибается, постепенно приближаясь к ней.

И Надежда Александровна чувствует, что он полон безумным желанием обладать ею. Такое ощущение вызывает у нее страшный кошмар.

Здесь нет уже Хребтова, знакомого, смешного, неуклюжего, хотя несимпатичного, но заслуживающего сожаления.

Здесь какой-то фантастический урод говорит хриплым голосом и протягивает к ней руки.

Это огромный паук с глазами, полными бешеной страсти, хочет ее схватить.

С ужасом отскакивает она от него и ее восклицание звучит, как крик погибающей.

— Нет... нет... ни за что!

Он останавливается, как вкопанный. Ее голос и движения говорят о глубоком отвращении. Значит, надежды нет... значит...

Положение вещей сразу становится для него ясным, но оно слишком ужасно, чтобы можно было с ним примириться.

Хребтов падает на колени. Слезы начинают течь из глаз, рыдания разрывают грудь.

Он чувствует, что вот здесь, перед ним, открывается могила. Хуже могилы — холодная, глубокая безнадежность. На него веет ужасом бесконечных страданий и, хотя разум говорит, что надежды нет, животный инстинкт приказывает ему ползать на коленях, просить, плакать.

Это бессознательный взрыв мольбы и под его влиянием уродство профессора достигает своего предела.

Крестовская глядит на него, как зачарованная; все происходящее так ужасно, так отвратительно, что кажется сном. Чувство действительности начинает покидать ее, сменяясь безумным страхом.

Хребтов рыдает и протягивает руки, она с ужасом отбегает в другой угол. Он следует за нею, она начинает метаться по комнате, не находя дверей, слишком напуганная, чтобы догадаться крикнуть, близкая к обмороку.

Длинные лапы наука протягиваются за нею. Хриплый голос, прерывающийся всхлипываниями, говорит о любви, о страсти, о безумии. Два глаза на искаженном лице горят, как глаза животного.

Она все убегает, он все ее преследует. Слова перестали вырываться из его горла. Он полон лишь одним желанием поймать ее... схватить...

Ни он, ни она больше не рассуждают. Кошмар стал действительностью. Паук гонится за жертвою. Долгие века культуры внезапно куда-то исчезли; вместо них остались первородные элементы животного организма — страсть и ужас.

Но в эту минуту отворяется дверь и входит доктор. Его невзрачная, незначительная фигура производит громадное действие; она переносит их из мира кошмаров в мир действительности. Она дает их нервам толчок, пробуждающий от галлюцинации к сознанию.

Надежда Александровна бросается к вошедшему и, схватившись за него, разражается нервными рыданиями.

Хребтов, тяжело дыша, прислоняется к стене и сжимает виски ладонями.

А доктор, растерявшийся до последней степени, спрашивает самым обыкновенным голосом:

— Ради Бога, господи, что здесь случилось?

Сначала вопрос остается без ответа.

В комнате слышны только рыдания девушки. Доктор что-то бормочет, пытается ее успокоить, но напрасно.

Проходит несколько тяжелых минут.

Хребтов делает движение, чтобы уйти, но в это время Крестовская перестает рыдать и бросается к нему в порыве слепого, истерического гнева.

— Чудовище, гадина, как вы осмелились!... урод, паук...

Она протягивает к нему с угрозой свои тонкие руки, она осыпает его всеми оскорблениями, какие может найти.

С жестокостью обезумевшей от гнева женщины она кричит, что он не человек, что одно его прикосновение возбуждает отвращение, что один взгляд оскорбляет.

Глаза у нее блестят слезами и гневом. Она вся дрожит, вся пылает, так и кажется, что она сейчас бросится на обидчика.

И профессор медленно, неуклюже, как полураздавленный гад, выползает из комнаты, пятясь назад, не сводя глаз с Крестовской.

Только затворяя за собою дверь, он схватывает последним взглядом фигуру доктора, стоящего в глубине комнаты с открытым ртом и выпученными глазами.

IV

Выскочив из квартиры Михайловых, Хребтов стремительно побежал домой.

Ему мучительно хотелось спрятать свою скорбь и обиду в какой-нибудь темный угол. Он чувствовал, что если запрет все двери, опустит шторы у окон и закутается с головой в одеяло, то получит облегчение.

И действительно, едва бросившись на постель, он сейчас же заснул.

Заснул каменным сном отчаяния, как спят люди, нервная сила которых исчерпана страшным потрясением..

Спал до вечера, вечером же проснулся и первым делом

пожалел об этом, потому что все вокруг было невыносимо противно, а на душе лежал тяжелый гнет.

Медленно поднялся с постели, сам не зная для чего перетаскился в лабораторию и здесь, усевшись в любимое кресло, предался своим думам.

Но чем больше думал, тем печальнее представлялось его положение: с одной стороны, разбитые мечты о будущем, осуждение на вечно серое, ничем не заполненное существование, с другой — позор утренней сцены.

Если удастся забыть женщину, то уж унижения он во всяком случае не забудет!..

Каждый человеческий взгляд станет ему напоминать про его позор.

И при мысли о том, как он был смешон, отвратителен, безобразен, горячая кровь залила лицо профессора.

Он сорвался с кресла и забежал по комнате.

Завтра же все сплетники и сплетницы города будут знать о том, что произошло. Сколько толков, анекдотов, рассказов!

Клеймо прирожденного уродства, которое он носил всю жизнь — ничто перед тем, каким его заклеят теперь.

Он чувствовал себя, как выставленный к позорному столбу. Ему казалось, что он видит тысячи смеющихся лиц, тысячи пальцев, которые на него указывают, слышит гул ругательств и насмешек, бесконечный, как шум моря.

Страшная злоба поднялась со дна его души в ответ на такие мысли. Если бы можно было уничтожить всех этих людей! всех, всех, как можно больше!

Если бы можно было губить направо и налево, пока хватит злобы, чтобы в чужих страданиях утопить свои собственные, чтобы быть не смешным, а страшным!

Но он только смешон, один из всех людей, отмеченный печатью уродства и всеобщего отвращения.

Вот там, в городе, везде кругом, живут сотни тысяч людей и каждого кто-нибудь да любит. Только он, он...

Профессор снова упал в кресло. Ему хотелось плакать и кусаться. Печаль и злоба поддерживали в нем друг друга.

Вдруг из соседней комнаты донеслось тихое, настойчивое мяуканье. Оно раздавалось около дверей. Очевидно, одна из предназначенных для опытов кошек освободилась и искала выхода, так как была голодна.

Среди мертвенной тишины, мяуканье звучало невыносимо раздражающе. В нем слышался призыв, отчаяние и злость, гнусная злость кошки.

Хребтов сначала только морщился, но постепенно непрерывающийся звук все сильнее и сильнее действовал на него. Наконец, впадши в ярость, он схватил стоявшую в углу палку и направился к дверям.

Едва он их открыл, сквозь щель просунулась серая голова с парой желтых, холодных глаз, снизу вверх пристально взглянувших в лицо профессору. За голову неуверенно пролезло в дверь и туловище на мягких, неслышно ступающих лапах.

Животное остановилось, как бы обдумывая свое положение, но в это время Хребтов размахнулся и что было силы ударил по нему палкой.

Удар сломал кошке позвоночник. Она опрокинулась, потом поднялась и с раздражающим душу криком поползла на одних передних лапах, волоча зад.

Хребтов снова ударил. Он ощущал наслаждение, смешанное с ужасом. Он бил изо всех сил и, пока бил, на губах его играла судорога, похожая на улыбку.

Через минуту кошка была мертва. Ее изломанный труп лежал, словно мешок, покрытый серой шерстью. Лишь на месте разбитого глаза краснело кровавое пятно.

Профессор, не выпуская палки из рук, прислонился к стене, потому что у него закружилась голова.

Ему вспомнилось, что когда-то, в детстве, быть может, еще до поступления в гимназию, бегая по двору, он поймал бездомную кошку.

Он спрятал ее, как сокровище, под ящиком в дровяном сарае, а когда наступил вечер и никого не было вокруг дома, отнес ее в палисадник и там повесил в углу, на заборе.

Тогда он искренне наслаждался муками животного и еще долго потом сладострастно вздрагивал, вспоминая, как

она корчилась.

С тех пор, во время опытов, он убивал многое множество животных, но никогда воспоминание о первом убийстве не являлось к нему.

Только теперь оно воскресло во всех подробностях, потому что тогда и теперь ощущения были одинаковы.

Забитый, жалкий мальчишка испытывал совершенно такую же сумасшедшую радость, злобное упоение при виде страданий, как и знаменитый человек науки.

И для забитого мальчишки весь мир был таким же чуждым, враждебным, как для великого ученого, и ненависть к людям, возникшую у мальчишки в ответ на щелчки, пинки, ругательства и насмешки, профессор сохранил до сих пор в своей груди.

Только она выросла и оформилась. Теперь он ненавидит людей за то, что отделен от них своим уродством, как неприступною стеной.

Ненавидит за то, что они любят, радуются и смеются, а для него это недоступно

Ненавидит за то, что первый раз, когда он пошел на встречу человеку с открытым сердцем, с протянутой рукою, он получил в ответ оскорбление хуже пощечины.

Охваченный новою яростью, обидой и скорбью, он снова зашагал по комнате.

Но вид убитой кошки был для него невыносим, ему было стыдно за эту вспышку мелкой, подлой жестокости. Чтобы не видеть трупа, он ушел из дома и целый вечер бродил по городу, не обращая внимания на дорогу, не оглядываясь по сторонам, стараясь заглушить душевную муку физическим утомлением.

Около полуночи он оказался на тротуаре против ресторана «Эрмитаж».

Оттуда доносилась музыка, лились потоки света. Подумавши, что туда можно войти и сесть за стол, Хребтов почувствовал такую усталость, что и в самом деле зашел.

Большой зал сиял электрическими люстрами, белыми скатертями столов, хрустальною посудой. Посетителей было много; гул разговоров смешивался со звуками музыки в

душном воздухе, пропитанном запахом еды.

Прежде Хребтов почувствовал бы себя стесненным в такой обстановке, но теперь его нервы были слишком взвинчены. Застенчивость куда-то исчезла и он испытывал удовольствие, подставляя под людские взгляды свою ужасную физиономию, дышащую злобой.

Занявши место в дальнем углу комнаты, он даже немного успокоился, отвлекся от своих мыслей, наблюдая за публикой. Сколько веселья было разлито по залу! Сколько дружеских разговоров и жестов, сколько нежных женских улыбок удалось ему подметить!

Ему казалось, что здесь, кроме него, нет несчастных людей, что здесь собрались представители чуждой ему расы, беспрерывно наслаждающейся счастьем, весельем, любовью и дружбой.

— Погодите, проклятые! — пробормотал он, сжимая кулаки в порыве зверской зависти, хотя и сам не знал, что значит эта угроза.

Вдруг рядом выросла чья-то тень.

Хребтов перевел глаза и увидел молодого человека, очень прилично одетого, но, судя по бледности лица, по неуверенным жестам, порядочно пьяного.

— Мое почтение, профессор! — говорил он, протягивая руку.

Профессор машинально поздоровался, выражая всем своим видом недоумение. Он никак не мог понять, откуда у него взялся такой знакомый.

Молодой человек заметил колебание Хребтова и рассмеялся.

— Что, не узнаете? немудрено. Если позволите присесть к столику, я вам сейчас объясню, кто я и откуда вас знаю.

Он тяжело уселся на стул и продолжал:

— Я, видите ли, бывший студент Московского университета. Значит, из тех, кого вы в свое время мучили. Но я злобы за это против вас не питаю. Такой человек, как вы, может доставить себе удовольствие помучить десяток-другой студентов. То, что составляет грех у простого смертного, у гения носит название маленькой привычки.

Хребтов с любопытством разглядывал неожиданного собеседника и думал, что, пожалуй, стоит вступить с ним в разговор, чтобы как-нибудь убить время, пока будет здесь сидеть и отдыхать.

Собеседник же рассмеялся собственным словам и небрежно продолжал.

— Да, гений великая вещь. Хотя, говоря откровенно, я настолько же восхищаюсь гениальными людьми, насколько презираю их произведения.

— Ну, это нелогично, — отозвался профессор.

Тот только пожал плечами.

— Этого вы мне не говорите; я, видите ли, по призванию пьяница, от юности занимаюсь только этим делом, так что, несмотря на всю вашу обработку в университете, ничего не знаю и не умею, но логика у меня все-таки есть.

Я ее теряю только после третьей бутылки, а сегодня выпил две, да и то не один.

Он с трудом закурил на свечке дрожавшую в руке папиросу и пустился разглагольствовать, почти не глядя на профессора.

— Логика, это моя специальность. Когда я родился, пришла к моей колыбели старая, сердитая колдунья и говорит:

«Я хочу сделать этого ребенка на всю жизнь несчастным, для чего дарю ему способность логического мышления».

Поворожила, поворожила и ушла, а я стал на всю жизнь несчастным человеком.

Вот вы говорите — логики нет; а на самом деле, слишком много логики. Оттого я и пьян каждый день. Разве может быть что-нибудь более логичное, нежели пьянство?

Жизнь скучна, с какого конца ее не возьми, а вино веселит. Значит, пей, душа моя, пей, сколько можешь. Пей и предавайся мечтам. Вывод простой и ясный.

Он затянулся несколько раз своею папиросой и мечтательно поглядел на профессора.

— Вот, вы говорите про гениев и их произведения; я вам и отвечаю. Гениев нельзя не уважать. Это своего рода феномен, а за феноменов даже на ярмарках деньги платят,

чтобы их поглядеть.

Если платят деньги, чтобы поглядеть уродливо толстую женщину, то как же не увлечься уродливо умным мужчиной?

Я им и увлекаюсь, увлекаюсь от всей души, а что произведения ваши не заслуживают уважения — это другое дело.

Сказать по правде, я прямо-таки считаю все ваши открытия, усовершенствования, изобретения вредными.

Хребтов не отдавал себе отчета, пьян ли этот человек настолько, что говорит несообразности, или у него есть какая-нибудь своя, оригинальная теория. Во всяком случае, он слушал охотно, потому что после безумного дня у него теперь появилась расслабленность, приковывавшая его к удобной позе на мягком диване, к шуму голосов и музыки, отвлекавшему от дум, к теплой, светлой, веселой комнате.

Он только спросил:

— Почему это вам вздумалось говорить про гениальность?

— Да потому, что это ваша специальность. Когда я встречаю актера — говорю с ним про театр, со спортсменом — про лошадей, с попом про религию, с женщиной — про любовь, когда же разговариваю с гением — завожу разговор о гениальности.

«Не смеется ли он надо мною?» — подумал Хребтов. Однако, не стал прерывать поток его речи. Ему было все равно.

А пьяный, между тем, продолжал:

— Да и к тому же, я должен сказать, что вы, уважаемый профессор, принадлежите к самой опасной породе гениев. Научные гении — самые зловредные. Они принесли человечеству больше всего зла.

— Зла?

— Ну конечно, а вы как думали? Представьте только себе, какую восхитительно была жизнь пятьсот лет тому назад, и посмотрите, какую поганой стала она теперь. Кто же ее испортил, как не вы, благодетели человечества?

— Каким же образом?

— Да очень просто. Прежде жизнь была вещью занятой, сложной, полной таинственности, поэзии, неожидан-

ностей. Вы со своею наукой переделали ее наново. Все стало просто, ясно, понятно и скучно, скучно до невозможности.

«Нет, — решил профессор. — Он не пьян, только в голове у него не все в порядке. Посмотрим, что он еще выдумает».

И сказал:

— Так ведь поэзия же существует и теперь. Мало ли у нас поэтов, поэтических произведений.

— Э, какая там поэзия. С тех пор, как исчезла религия и вера в колдовство, поэзии больше уж нет. По крайней мере, нет ее в людях, в жизни, нет живой поэзии, а осталось какое-то кривляние, какие-то бледные тени.

А кто уничтожил колдовство и религию? Вы, доктора, со своею наукою. Вы и Богу и черту дали мат — а из-за чего? Только в угоду своему самолюбию, а не для человеческого счастья, потому что человечество без Бога несчастно, а без черта еще несчастнее.

Ведь человечество то, *entre nous soit dit**, глупо, слишком глупо для ваших великолепных возвышенных теорий. Сколько вы ни бейтесь, а все-таки всякая голова, даже самая светлая — не больше, как скверная машинка для переработки обрывков внешнего мира.

Он засунул руки в карманы и стал качаться на стуле, не обращая внимания на своего собеседника, который мало слушал, не обращая внимания на публику, наполнявшую зал.

Какой-то франт, проходя мимо вслед за шуршащею шелком дамою, чуть не споткнулся о его протянутые ноги и, удивленно заглянувши ему в лицо, сказал: «*Pardon!*»

Но тот как будто ничего не замечал. Он качался на своем стуле, смотрел в пространство и цедил слово за словом.

— Вы, вероятно, думаете, что я говорю все это потому, что пьян — и совершенно напрасно.

Что я пьян — это святая правда, но повторил бы все сказанное и в трезвом виде. Только менее складно.

* Между нами будь сказано (*фр.*).

Вот я богатый человек, недурен собою, принадлежу к хорошему обществу, имею обширные связи.

Словом, к моим услугам все способы быть счастливым, а между тем, я скучаю и пьянствую потому, что мне всю жизнь не хватало двух вещей — Бога и черта.

А потом, подумайте про все технические изобретения — телеграф, что ли, телефон, железные дороги, если хотите, разве они принесли кому-нибудь, кроме изобретателей, хоть каплю радости?

Ведь и без них люди так же путешествовали, сносились между собою и не страдали от несовершенств техники, потому что не знали ничего лучшего.

Теперь же эти чертовы изобретения лишили жизнь всяких осложнений, которые придавали ей интерес, упростили ее, сделали ее бессодержательной.

Ведь все что дается слишком легко, не доставляет радости. А теперь все дается слишком легко.

Он поймал за рукав пробежавшего мимо лакея и велел подать вина. Профессор запротестовал было, но тот только кивнул головою, будто отмахиваясь от мухи.

— Вы поставите свою бутылку при следующей встрече!

Хребтов с удовольствием отказался бы от вина, но видел, что это стоило бы длинного спора. Поэтому он предоставил собеседнику делать все, что тот захочет.

А тот продолжал:

— Вся эта электрическая гадость только даром испортила людям нервы. Другого результата я не вижу. Приходилось вам читать итальянских авторов эпохи Возрождения? Нет? Ну, а Шекспира — тоже нет? Ну, Бог вам судья.

Так видите ли, у самих этих авторов и у всех людей, каких они выводят, жизнь так и кипит ключом. Они полны радостью жизни, у них всегда есть про запас хорошее расположение духа, веселье, пробивающееся широкой струей при первой возможности.

А у нас этого нет, потому что нервы испорчены; мы бродим, как сонные мухи, нам легче впасть в истерику, чем развеселиться. Пессимизм — наше естественное настроение. Мы только и делаем, что ищем — над чем бы поплакать.

У тех была радость жизни, а нас уныние и скука. Понимаете разницу?

Его голова опустилась на грудь, как будто от сильной усталости. Он закрыл глаза и провел рукою по лбу, но сейчас же выпрямился и, схватив один из стаканов, которые лакей тем временем налил, выпил его залпом.

— Видите ли, — сказал он, поворачиваясь прямо к Хребтову и опираясь обеими руками на стол против него. — Я представляю себе человеческую душу, находящуюся под гнетом культуры, совершенно особенным образом.

Ей, бедной, может быть, и хотелось бы посмеяться над какими-нибудь пустяками, порадоваться солнечному дню, ужаснуться из-за дурной приметы, из-за суеверия, но ей не пристало вести себя так легкомысленно. Сейчас же является вопрос:

«Как это? Мы покорили время, пространство, надели намордник на природу, разбили в кусочки Бога, вышугали черта и вдруг будем заниматься какими-то пустяками, смеяться детским смехом, пугаться детским страхом.

Нет, это оскорбило бы наше достоинство серьезных, культурных людей».

И сидит бедная душа, такая важная, такая чопорная, и скучает. Смертельно скучает.

У детей бывает такой возраст, когда они вышли из ребячества, а до старших еще не доросли. Им и хотелось бы поиграть в игрушки, да как-то неловко себя компрометировать. Боятся, что их за малых ребят примут. Проклятый возраст, скучный возраст бесполезной душевной ломки!

Человечество дошло до него, да в нем и осталось, потому что, чтобы идти дальше, пришлось бы скинуть с себя плотскую оболочку, а этого, извините, сделать вам не удастся!

Он вытащил бутылку из вазы, наполненной льдом, с ругательством отбросил салфетку, в которую она была завернута, налил себе еще стакан и вдруг заметил, что стакан Хребтова полон.

— Отчего же вы не пьете, профессор?

— Я слушаю.

— Э, полноте, стоит ли слушать. Все равно ведь не пере-

станете благодетельствовать человечеству. Не лучше ли пить? Ей-Богу, мне доставит огромное наслаждение чокнуться с вами. Я во всю жизнь не забуду этой чести. Ну, залпом, до дна, до дна...

В его голосе неожиданно зазвучали теплые ласковые нотки. Есть немало людей, которые только тогда и становятся ласковыми, даже нежными, когда уговаривают кого-нибудь пить.

Профессора, конечно, не тронуло задушевное обращение соседа, но он все таки выпил, во-первых, чтобы избавиться от приставаний, во-вторых, из любопытства, потому что никогда еще не пил шампанского.

Вкус вина вызвал у него разочарование: неужели он таков, этот напиток богатых и изнеженных, этот нектар избранных, из-за которого пропиваются целые состояния? Пощипывает язык, да как-то противно пахнет. Только и всего.

Он с недоверием поглядел на бутылку, но спросить своего компаньона не решился.

Впрочем, тот уже снова погрузился в изложение своих теорий.

— Победы науки, — бормотал он, — победы науки!

Дорого они обходятся человечеству эти победы. Вот вы насочинили всяких сывороток против болезней, — а разве люди стали от этого здоровы? По-прежнему болеют и мрут. Только раньше умирали от Божьего гнева, от каких-то таинственных, могучих сил, и это было величественно и прекрасно, а теперь умирают от бактерий, что пошло и глупо.

Я знаю, что вы скажете (профессор ничего не собирался говорить). Вы скажете, что лучше сознательно относиться к окружающему, что это более достойно человека, — ну, уж извините; на мой взгляд, куда интереснее жить среди неизвестного и таинственного. Вы все стремитесь упростить жизнь, докопаться до ее сущности, а о том забываете, что жизнь сама по себе скучная, глупая вещь, что без прикраса она никуда не годится.

Вы, как чиновники, внесли в мир сухой порядок, разделили силы природы на входящие, исходящие, пронумеровали их и, не давши никому счастья, изгнали поэзию.

Поэзия нуждается в таинственности, в неожиданном, в неотразимом, в мощных, полужверских порывах души человека, полного жизненных сил.

А вы все это разрушили, отняли, уничтожили.

Он выпил еще стакан и вдруг сделал знак, приглашающий слушать, указывая на оркестр.

Оркестр играл в это время вступление к арии последнего акта оперы «Тоска». Мощные, мрачные аккорды звучали неотразимою силою судьбы.

Профессор, совершенно лишенный музыкальности, все-таки понял, что эта музыка какая-то особенная, хватающая за сердце, живая, говорящая.

Вдруг на фоне аккомпанемента появилась одинокая мелодия, напряженная, как крик отчаяния, как последний вопль о помощи, как последняя мольба, обращенная к небу, мольба, похожая на угрозу.

Хребтов откинулся на спинку дивана. Ему стало так же тяжело, как несколько часов тому назад внизу, на улице. Эта музыка, с такою яркостью передающая душевные муки, вызвала во всем его существе мучительный, стихийный протест против несчастья.

А через стол раздался тихий смех. Молодой человек, очевидно, заметил впечатление, какое произвела ария, и смеялся с откровенностью пьяного.

— Что, видите, какую красоту вы убили? Теперь так не чувствуют, так не страдают.

Только музыканты пытаются воскресить то, что совершилось когда-то в человеческой душе.

Ведь это муки человеческого сердца, положенные на музыку. Муки человеческого сердца, каким оно было, когда не было ни телеграфа, ни антидифтеритной сыворотки, когда человек имел душу на месте, а не носил ее, как теперь, вместе с бумажником в кармане.

Он торжествующе глядел на профессора, но тот ничего не видел и не слышал. Музыка раздражила его муку, он не мог с нею справиться и, схвативши бутылку, налил второй стакан и выпил.

После этого ему стало как будто легче. В голове зашу-

мело, все вокруг подернулось дымкой, разговоры слились с музыкою в один сплошной гул, сквозь который, словно издалека, доносились слова его собеседника.

— То, что раньше было жизнью, теперь сделалось искусством. Вот в чем дело! Я хотел бы дослушать, как выражается в музыке этот ваш прогресс. Вот пакость-то, наверное!

Представляете вы себе марш прогресса? Нечто до тошноты ритмическое, лязгающее, сухое, в быстром, но не живом темпе.

Потом Хребтов увидел, как компаньон дрожащею рукою наливает его стакан, проливая на скатерть шипящее вино. Машинально выпил он третий стакан и совсем переродился.

Собеседник перестал казаться ему пьяным. Наоборот, профессор почувствовал к нему большую симпатию и начал горячо ему что-то рассказывать. Между прочим, в рассказе он упомянул про свои исследования над чумными бактериями, туманно дал понять, что скоро мир освободится от этого страшного бича.

Молодой человек в ответ только махнул рукою.

— Ну вот, еще один шаг к упрощению жизни. Эх, профессор, профессор! Если бы не ваше научное ослепление, вы сумели бы понять, где счастье, и сожгли бы собственноручно свои труды.

А знаете, — добавил он, лукаво улыбаясь, — будь я на вашем месте, я взял бы да и выпустил чуму на город. Вот была бы картина! Уж тогда не пришлось бы скучать. Люди сразу научились бы и в Бога верить и любить жизнь.

Дальше разговор потерял всякую последовательность. Хребтов с усилием говорил какие-то скучные, тяжелые фразы, собеседник его не слушал и болтал свое.

Так тянулось долго. Музыка смолкла, ресторан почти опустел, но два собеседника не замечали этого, сидя один против другого, положивши локти на стол, свесив отяжелевшие головы над пустыми стаканами.

Наконец у профессора, сквозь туман опьянения, стали мелькать проблески сознания. Он вдруг устыдился своего

поведения, встал, расплатился с зевающим, переутомленным лакеем и, несмотря на уговоры компаньона посидеть еще, выпить еще бутылочку, вышел из ресторана.

Было три часа ночи. Всюду царил тишина, а темнота после ярких огней ресторана казалась особенно черной.

Мягкий неподвижный воздух приятно освежал лицо. Хребтов решил дойти до дома пешком. В голове у него порядком шумело, но он чувствовал себя бодрым. Сначала, правда, покачивался, но потом перестал. Его мощный организм быстро справился с опьянением.

Зато, по мере того, как свежий ветерок уносил из его головы пьяный угар, в ней начинали копошиться злые, мучительные мысли, так что, придя в лабораторию, Хребтов так же, как утром, оказался лицом к лицу со своим позором и несчастьем.

Человеческая натура устроена таким образом, что из каждого тяжелого положения инстинктивно ищет выхода, но профессору казалось, что призраки вчерашнего дня сомкнулись вокруг него железным кольцом, вырваться из которого было невозможно.

Уродливые, кричащие воспоминания глядели ему в лицо, доводя его до ярости, до бешенства.

Заснуть? Какое это было бы счастье — хоть на время скрыться от самого себя. Но как спать, когда каждый нерв болит, когда тоска достигает степени физической боли.

Он бросился, одетый, на постель, но сейчас же вскочил и, вернувшись в лабораторию, зашагал из угла в угол.

Это было началом длинной, тяжелой прогулки.

Бесконечный путь совершил он, шагая взад-вперед по комнате и пробираясь в то же время через лабиринт своих горячечных, непослушных мыслей.

Он улавливал отдельные обрывки этих полу-мыслей, полу-ощущений, собирал их почти с физическим усилием и, получивши готовый образ, приставлял к нему другой, составленный с таким же мучением и тоскою.

Таким образом, в его воображении постепенно вырастало логическое построение, связанное, может быть, и прочно, но самое мрачное, какое когда-либо создавал человеческий

ум, давившее душу невыразимой тяжестью.

Параллельно один другому, перед ним возникли два образа.

Первый из них — это он, Хребтов.

Хребтов, страстно жаждущий счастья, знающий, в чем оно для него заключается, способный прочувствовать счастье как никто другой и навсегда, навсегда его лишенный.

Хребтов, запертый в холодной, пустой лаборатории, куда через окна заглядывает веселый, светлый внешний мир и насмешливо дразнит бедного узника.

Хребтов с нежным сердцем, с натурою, полною страсти, наделенный гнусною оболочкой пьевры, сказочного чудовища, вызывающего у всех отвращение.

Хребтов, ощущающий мистическую силу проклятия своей внешности, знающий, что, куда бы он ни пошел, всюду встретит его ненависть и презрение.

А рядом с этим внутренним миром человека, похожим на крошечный ад, где скрежещут зубами и воют от боли, он вообразил себе другой мир, великий и светлый внешний мир, где любят, где наслаждаются привязанностью, где бывают счастливы всеми видами счастья.

Ему казалось, что этот лучезарный призрачный смеемся над ним, хохочет, дразнит его тысячами высунутых языков, издевается над его мучениями.

Ярость охватила Хребтова. Бесконечная злоба против всего, что живет и способно радоваться.

Мстительная злоба оборванца-нищего, опрокинутого в грязь экипажем знатной барыни, грозящего кулаками во след ее бархату, шелку, перьям.

Злоба голодного крестьянина, грозящего барскому дому за то, что в нем живут всегда сытые люди.

Злоба парии против всех высших, привилегированных, с которыми он никогда, ни за что не сравнивается.

Он подошел к окну.

За линией бульваров, обрамляющих Девичье поле, виднелись силуэты спящего города.

Там, под тысячами крыш, жило и дышало человеческое счастье. Ему почудилось, что из темноты, оттуда доносятся

тихие звуки поцелуев, нежных слов, заглушенные страстные вздохи, рокоchущий лепет любви.

Это для других; а для него насмешки, ненависть, презрение.

И ему захотелось собрать вместе все радостные улыбки, весь веселый смех, все нежные ласки, все страстные речи, и топтать, топтать их ногами, чтобы отомстить за свои обиды.

Довольно, довольно!

Страшным усилием воли, словно убегая от безумия, он оторвался от окна и снова заходил по комнате.

Но вихрь мыслей становился все более бешеным, все более грозным.

Разве он не может осуществить своего желания? Разве у него нет средства расправиться с ненавистным человечеством?

Ведь к его услугам великая, черная сила науки, направленной на зло. Тот человек в ресторане был прав. Нужно выпустить чуму на город.

Вот здесь, кругом, на полках, в тщательно закупоренных банках, достаточное количество яда, чтобы отравить всех тех, кто наслаждается счастьем на глазах у несчастного с разбитою душой.

Он выпустит миллиарды бактерий и весь город превратится в долину смерти, оденется в траур, оросится слезами, огласится стонами и воплями.

Тогда Хребтову станет легче. Он получит возможность спастись от своих страданий. Это будет великая месть, достойная своего великого автора. Он нанесет удар самой жизни, он справит такие поминки по своему счастью, о каких могло бы мечтать разгневанное Божество.

Внезапно затихнув, с широко раскрытыми глазами, с улыбкою на безобразном лице, Хребтов подкрался к окну.

Не подошел, а именно подкрался, ибо ему казалось, что огромное животное, против которого он злоумышляет, может вдруг проснуться и взглянуть на него тысячьо глаз.

У окна он бросил широкий взгляд кругом.

Бесконечная панорама города расстилалась под начи-

навшим светлеть небом. Ломаные линии крыш, темные ущелья улиц тянулись без конца. Даже там, далеко, где ничего не было видно, чувствовалась жизнь по красноватому отблеску фонарей.

Властным жестом Хребтов протянул вперед руки. Их черные силуэты закрыли большую часть города. Кривые, грубые пальцы вырисовались на фоне утренней зари.

Профессор что-то бормотал, словно произнося заклинания и, казалось, с его пальцев струится черная смерть, медленно расстилаясь над окрестностью.

Прошло несколько времени. Восток все алел и все чернее становился силуэт человека в окне.

Наконец он опустил руки, как автомат прошел в другую комнату и бросился на постель.

V

Следующий день прошел у Хребтова гораздо спокойнее.

Это легко понять, зная его характер.

Обуревавшие его вчера чувства нашли исход в дьявольском замысле мщения человечеству. Таким образом, у него явилась цель, а имея цель перед собою, он весь превращался в энергию, в деятельность, так что для сомнений и терзаний не оставалось времени.

Вставши очень поздно, профессор долго и систематически обдумывал план своего замысла.

Обдумывал его, как полководец, работающий над планом сражения. Старался предвидеть все случайности, заметить и исправить все слабые места.

Когда же все до мельчайших деталей было обдумано, перешел в лабораторию и принялся за дело.

На одной из полок стояло множество банок своеобразной формы, тщательно закупоренных, содержащих культуры микробов.

Выглядели они совсем невинно; в одних был налит бульон, в других какая-то темная жидкость, похожая на кровь,

третьи содержали кусочки сырого картофеля.

Но каждая из них, по своей разрушительной силе, была неизмеримо страшнее, чем целая куча пироксилина, динамита или какого-нибудь другого взрывчатого вещества.

Хребтов в задумчивости оглядел этот арсенал, словно затрудняясь в выборе. Наконец снял одну банку, отмеченную несколькими буквами, написанными чернилами по стеклу.

— Это не просто чума, а чума в квадрате! — пробормотал он, рассматривая значки.

Действительно, ничего подобного тому яду, который Хребтов держал в руках, мир еще не видел. Профессор имел полное право испытывать некоторую авторскую гордость, глядя на эту банку с культурой бацилл.

Дело в том, что, производя свои опыты над чумою, культивируя бацилл в различных питательных средах, прививая их различным животным, он прежде всего старался получить ослабленную, мало жизнеспособную расу, предназначенную для предохранительных прививок.

Но в тоже время он работал над созданием нового сорта бактерий, еще более живучих, еще более убийственных, чем обыкновенные.

Зачем ему понадобилось это — он и сам не сумел бы объяснить. Вопрос был в чисто научном интересе этого опыта, в экстравагантности идеи создания сверхчумы.

Результатом получилось племя бацилл, прошедших через всевозможные испытания и тысячу раз доказавших свою сверхъестественную живучесть. Они могли выдерживать замораживание, кипячение, засушивание и все-таки, лишь только попадали в благоприятную обстановку, начинали множиться с феноменальной энергией.

Минимальное количество их заражало без промаха всякое животное.

При опытах с ними, зараженные кролики и крысы умирали чуть ли не вдвое скорее, чем от обыкновенной чумы.

Вот этим-то бактериям и решил профессор поручить дело мщения.

Правда, питательная среда в банке засохла, общее ко-

личество культуры было невелико, но он подлил воды и получил количество жидкости, вполне достаточное для его цели.

Затем он прошел в спальню и вытащил из-под кровати сундучок, в котором хранились деньги. Тут была масса бумажек — рублевых, трехрублевых, пятирублевых. Хребтов не сдавал денег в банк, предпочитая хранить их у себя, так как чувствовал к ним некоторое сладострастное влечение.

Теперь онигодились. Он отнес пачку ассигнаций в лабораторию и стал смачивать каждую бумажку зараженным раствором.

Лично он, после знаменитого опыта прививки чумы, мог не бояться заражения, но для других людей каждая бумажка, обработанная таким способом, приобретала губительную силу, равную по крайней мере силе хорошей Крупновской пушки.

И по мере того, как кипа ассигнаций, разложенных для просушки, росла, Хребтов чувствовал себя все сильнее.

Никогда еще ни один царь не имел более сильной армии! Собственная мощь опьяняла его; теперь уже ни за какие блага мира он не отказался бы от своего плана.

«Как это удачно, — думал профессор, — что именно деньги избрал я как средство разнести заразу. Сколько недобросовестных поступков было совершено из-за каждого лежащего здесь рубля.

Сколько непроданных, святых вещей они покупали.

Сколько раз при их помощи сильный душил слабого.

Теперь же они понесут в мир мщение за то зло, которое ради них совершалось.

Какое страшное совпадение! то, что убивало душу, начнет убивать тело. Какая злобная ирония со стороны судьбы!

Но если признавать судьбу, придется признать и Бога».

Профессор пожал плечами. Давно, давно он не думал о Боге и так отвык от самого представления о нем, что случайная мысль не пробудила ни тени боязни возмездия.

Скоро работа была окончена. Оставалось дать бумажкам высохнуть, что заняло с час времени, в течение которого Хребтов не знал, куда деваться от томления, всегда вы-

зываемого у энергичных людей невольным перерывом в работе.

Наконец он уложил все деньги в бумажник и собрался выходить, но раньше привел в порядок свой костюм, для чего оказалось нужным посмотреться в зеркало.

При этом его самого поразил печальный вид его физиономии. Она осунулась, потемнела, сделалась не только уродливой, но и страшной. Впрочем, это не смутило Хребтова. Наоборот; он был доволен, потому что чем более отвратителен человек, несущий месть, тем месть должна быть обиднее и страшнее.

И он вышел из дома, чтобы произвести посев смерти.

Согласно заранее обдуманному плану, следовало начать с модного магазина «M-lle Gerard», находящегося в центре города. Когда-то ему пришлось слышать, что там одеваются самые богатые и шикарные женщины Москвы. Им, баловням судьбы, и предназначался его первый удар.

Пускай, вместе с роскошными платьями, m-lle Gerard продаст им смерть.

Пускай их поклонники вдохнут в себя эту смерть, целуя нежные руки и атласные плечи.

Но, придя к магазину, уже поднявшись по лестнице, профессор вдруг остановился в затруднении.

Что же он будет покупать?

Это была одна из непредвиденных мелочей, тормозящих исполнение как нельзя лучше выработанных проектов.

В самом деле, — что он может покупать в магазине дамских нарядов? Ведь не платье же!

И, простоявши минуту на площадке лестницы, он собрался уходить. Грозовая туча могла миновать магазин m-lle Gerard, но этому помешала простая случайность.

Поворачиваясь, профессор увидел надпись на вывеске около дверей:

«Цветы, кружева, перья».

Ну вот, теперь он знает, что покупать. Кружева! Отличная мысль. Какая-нибудь знакомая могла ему поручить покупку кружев.

И он решительно вошел в магазин под звон колоколь-

чика, приделанного к двери.

Там в это время не было других покупателей, так как пора аристократических клиенток m-lle Gerard еще не настала.

Тем не менее, работа была в полном разгаре. Через раскрытые двери можно было видеть, что вторая комната полна мастерицами, согнувшимися над шитьем. В магазине, среди черных с золотом шкафов, похожих на витрины музея, старшая закройщица прикладывала палевые ленты к голубому шелку, расстилавшемуся роскошной волной на черном прилавке, и о чем-то советовалась со стоявшей тут же молодой, но чахлой мастерицей.

Обе женщины повернулись к вошедшему, когда прозвенел звонок, и профессора поразил контраст между серовато-желтым, чахоточным оттенком их лиц и живостью красок материй, развертывавшихся под их пальцами.

— Что угодно monsieur?

— Я хотел бы купить кружев.

— Каких кружев желает monsieur? У нас большой выбор.

— Право, не знаю. Дайте мне каких-нибудь хороших.

Продавщица засмеялась.

— Мы плохих и не держим. Только сорта кружев бывают разные. Может быть, вы скажете мне, для какого платья предназначаются кружева. Я помогу вам выбрать.

Хребтов почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Какие, черт возьми, бывают платья? Он немного подумал и сказал:

— Платье шелковое.

— Но этого мало. Я должна знать цвет, фасон платья. Иначе нельзя выбрать подходящую отделку. Ведь для monsieur же будет хуже, если дама, которая поручила ему покупку, останется недовольна. О, женщины в этом отношении очень строги!

Говоря это, закройщица бросила косой взгляд мастерице, указывая на фигуру Хребтова. Обе едва удержались от смеха.

Терпение профессора истощилось.

— Дайте мне вот это, — сказал он, указывая на кружевной воротник, грациозно охватывавший коленкорovou шею

манекена.

Ему завернули кружево и он заплатил своими отравленными бумажками, искренне возмущаясь безобразной дороговизной назначенной цены.

Едва дверь за ним закрылась, старшая закройщица отнесла его деньги в ящик с выручкой. По дороге она ловко отделила одну рублевку и жестом, указывающим на большую привычку, сунула ее в карман.

Вместе с этою рублевкою, она вечером внесла в свою квартиру смерть, которая выкосила всех тех, для кого она жила и работала.

От модистки Хребтов зашел к ювелиру. Там он выбрал почему-то обручальное кольцо, купил его и сунул в карман.

Решив, что в этой местности двух зараженных пунктов достаточно, он прошел затем на Тверскую, где выпил стакан кофе в большой кондитерской и оставил еще одну зараженную бумажку.

На Кузнецком мосту он купил букет цветов, который приказал отослать по вымышленному адресу. Оттуда прошел на Покровку и в двух магазинах купил первые попавшиеся на глаза вещи.

При переходе через Театральную площадь, к нему пристал старик-нищий. Сначала он, по привычке, прошел мимо, бормоча:

— Бог подаст!

Но потом спохватился, повернул назад и, порывшись в бумажнике, дал целых три рубля.

Нищий сначала онемел от изумления, затем стал рассыпаться в благодарностях, на каждом шагу поминая имя Бога. Но Хребтов уже шагал дальше с веселой улыбкой на лице.

«Ему есть за что благодарить, — думал он, — бедняк получил гораздо больше, чем предполагает. Интересно знать, успеет он пропить свои три рубля или его “схватит” раньше?»

Часов в пять вечера профессор вспомнил, что ничего еще не ел сегодня и зашел в ресторан.

Там его спокойное настроение сменилось новым приступом тоски и злобы. Может быть, причиною этого были

две выпитые им рюмки водки, а может быть, и то, что кругом было много веселых, чистых, приличных людей, бросавших на него исподтишка взгляды удивления и гадливости.

Вероятно, на самом деле он был ужасен. Даже лакей, подававший блюдо, когда взглянул на его лицо, остался минуту неподвижным, а потом побежал и стал что-то рассказывать шепотом человеку, стоявшему за буфетом.

Этому лакею профессор, с особенным удовольствием, дал рубль на чай и, выйдя из ресторана, снова принялся за свое дело.

Но, хотя его расхोдившиеся было нервы и успокоились немного от ходьбы, все же утреннее спокойное настроение не вернулось.

Он чувствовал себя как в чаду после выпитой водки. Голова была тяжела и начинала болеть.

Кроме того, им овладела страшная усталость, усталость нескольких дней, которая постепенно скопится где-то в укромных уголках организма и потом сразу ложится свинцовою тяжестью на мускулы, на нервы, на мозг.

Но, несмотря на это, он пересиливал себя и ходил до самого вечера, все покупая и покупая, хотя теперь делал это без всякой системы.

Все купленные вещи он таскал с собою. Ему как-то не приходило в голову избавиться от них. Постепенно их накопилось огромное количество, но он так и принес все с собою, когда в одиннадцать часов вечера дотащился до своей квартиры.

Там он сбросил этот груз мешков, коробок, свертков на пол в передней, и остановился над ним в глубоком раздумье.

Ему хотелось плакать, так он страдал от усталости.

Зато все нравственные вопросы умолкли и колоссальное злодеяние, только что им совершенное, не вызывало никаких размышлений, а стояло в сознании лишь как бесформенный призрак, отделяющий вчера от сегодня.

Старая кухарка, открывшая ему дверь, молча, испуганно приглядывалась к своему хозяину в течение нескольких минут. По-видимому, она успела за это время прийти к ка-

ким-нибудь заключениям относительно его состояния, потому что, едва он скрылся в спальне, волоча за собою ворох покупок, она побежала в кухню и, первым делом, заперла за собою дверь на задвижку.

Потом села на постель и принялась размышлять, с трудом ворочая свои неуклюжие мысли, пытаясь объяснить тот страх, который внушал ей за последние дни профессор.

Она видела через щелку, как он убивал кошку и потом не могла заснуть целую ночь, с ужасом прислушиваясь к его шагам в лаборатории.

Ей не приходило в голову доискиваться причины того, что происходило, но она всем своим существом боялась Хребтова и приняла решение бежать.

Ее последние сборы были недолги. Она сняла из угла образа, уложила их между подушками, завернула все это в перину, немного подумавши и пометавшись по кухне, сунула туда же пару кастрюль и завязала тук веревкой.

Потом накинула теплый платок, прислушалась, открыла дверь в сени и вытащила туда вещи.

Затем вернулась в кухню, потушила лампу и ушла навсегда, крепко захлопнувши за собою дверь.

Последний человек, с которым Хребтов был хоть чем-нибудь связан, покинул его.

А профессор в это время, несмотря на усталость, побуждаемый странным любопытством, развертывал принесенные с собою свертки.

Когда их содержимое было разложено на полу, выяснилась странная вещь; сам того не замечая, он купил исключительно предметы женского обихода.

Здесь были кружева, отличный атласный корсет, сладострастно повторявший формы женской груди, пара лакированных дамских ботинок с причудливо выгнутыми высокими каблуками, изящный веер, несколько флаконов духов, широкий пояс с бронзовой пряжкой, украшенный фальшивыми камнями в стиле *moderne*, было, наконец, полдюжины цветных женских рубашек.

Все это рассыпалось по полу, образуя красивую, блестящую кучу среди неприглядной комнаты ученого. Полу-

чилося такое впечатление, будто недавно в грязной спальне старого холостяка была изнеженная женщина и ушла, оставляя за собою все эти дразнящие воображение принадлежности туалета.

Хребтов стоял, разглядывая при жалком свете свечи бесполезное великолепие купленных вещей и старался понять — почему он выбрал именно эти предметы, а не какие-нибудь другие.

Машинально сунул он руку в карман и нашел там обручальное кольцо. Так же машинально надел его на палец и, усевшись на краю постели, стал пристально разглядывать свою руку.

Вдруг на глазах его повисла какая-то тяжесть. Странное, щекочущее ощущение пробежало по лицу и он тихо заплакал обильными слезами.

Было что-то невыразимо ужасное в сочетании детского плача с внешностью этого чудовища.

А когда, полчаса спустя, профессор крепко спал, протянувшись одетый поверх одеяла, золотое кольцо продолжало блестеть у него на пальце.

С кем обручился он в этот вечер, следуя странному капризу больной фантазии? С тою ли, которую любил, которой жаждал и за отказ которой мстил целому человечеству?

Или со своей старой возлюбленной, — чумою, которая не изменила ему и выступила мстительницей за его обиды?

Не знаю. Знаю только, что он не расставался больше с кольцом и часто подолгу глядел на него в задумчивости.

Заснувши около двенадцати часов ночи, Хребтов проснулся лишь к десяти утра.

Вообще в течение всего этого безумного времени он спал чрезвычайно много и, вероятно, только сон поддерживал его силы, потому что ел он вчетверо меньше, чем обыкновенно, заходя в рестораны лишь тогда, когда чувствовал потребность отдохнуть среди своих странствований по городу.

Дело разнесения болезни было, собственно говоря, сделано уже в первый день. Десятки отравленных бумажек, пущенные в обращение, обеспечивали сильнейшую эпиде-

мию, особенно принимая во внимание, что весна в этот год была на редкость жаркая.

Однако, деятельность была необходима профессору и он еще несколько дней провел в ходьбе, повсюду сея смерть, хладнокровно соображая, где болезнь найдет себе лучшую пищу, заботясь о том, чтобы не оставалось незараженных пунктов.

Он побывал в Замоскворечье, потративши полдня на обход лабазов и оптовых складов.

Его видели в церквях и монастырях, где, несмотря на толпу богомольцев самой пестрой внешности, профессор привлекал к себе общее внимание уродливым лицом, движениями, напоминающими автомата, и щедрою раздачей бумажных денег нищим.

Его можно было встретить и на рынках, особенно на площади торгова около Сухаревой башни.

Там скопище продавцов и покупателей вокруг поставленных прямо на мостовую палаток и прилавков пропитано такою массой тяжелых испарений, что является настоящим раем для чумных бацилл.

Когда я представляю себе эти его странствования, они кажутся мне отрывком из какой-нибудь страшной сказки.

Никогда еще ужас действительности не был до такой степени близок к ужасу фантастического.

Вообразите себе фигуру человека, до такой степени уродливого, что при взгляде на него трудно поверить собственным глазам, шагающего с утра до вечера по городу, спокойно, безуданно разнося смерть.

Он не смотрит по сторонам, не замечает толпящихся кругом людей. Он неотразим и бесчувственен, как рука судьбы.

Я не понимаю только одного.

Как люди, встречавшие его, инстинктивно не почувствовали всей массы кипевшей в нем ненависти и злобы?

Итак, посев смерти был сделан.

Ад и Рай, а если нет ни того, ни другого, то по крайней мере городские кладбища могли рассчитывать на богатую жатву.

Но раньше, чем она наступила, прошло несколько дней, в течение которых люди мирно жили рядом с чумою.

Они заботились о завтрашнем дне, любили, ненавидели, подписывали векселя, не подозревая, что рядом уже стоит некто, призванный отнять у них завтрашний день, насмеяться над любовью, заглушить ненависть и уплатить по всем векселям.

Знал об этом только Хребтов, заключившийся в лаборатории, проводивший дни и ночи в мучительном ожидании.

Наконец пали первые жертвы.

Я думаю, раньше всех заболела дочь закройщицы от *me Gerard*, болезненная девочка четырнадцати лет, единственный предмет любви, нежности и забот своей матери.

Правда, доктор заявил, что она скончалась от тифа, но это ничего не доказывает, если принять во внимание сходство первоначальных симптомов обеих болезней, а также то, что девочка была бедной пациенткой и не могла рассчитывать на особое внимание доктора.

Вероятно, многие доктора, наскоро осматривая больных, делали ту же ошибку. Если мы просмотрим санитарную рубрику газет за время, непосредственно предшествовавшее официальному объявлению эпидемии, то заметим странное возрастание числа тифозных заболеваний.

Несомненно, во многих случаях здесь нужно читать слово «чума» вместо слова «тиф».

Но лишь только болезнь коснулась богатого человека, «серьезного» пациента, она не могла уже больше скрываться, и врачи изобличили ее настоящую природу.

Было произведено научное исследование, которое установило, что купец первой гильдии Семипятов умер от чумы.

Этому купцу выпала на долю честь официально открыть собою длинный список жертв эпидемии, которых потом перестали считать и записывать.

О таком ужасном случае, как неожиданное появление чумы в Москве, перепуганные врачи поспешили, разумеется, донести начальству.

Начальство добросовестно приняло все санитарные меры и постаралось сохранить событие в тайне, чтобы не вызвать в городе преждевременной и, может быть, неосновательной паники.

Но судьба устроила так, что это мудрое распоряжение осталось невыполненным.

У лаборанта бактериологической лаборатории, где производилось исследование крови Семипятова, была молодая, хорошенькая жена, которую он безумно любил.

Та, в свою очередь, не менее пылко любила репортера газеты «Вечерняя почта». Эта комбинация обратила в ничто все усилия полиции, направленные к сохранению тайны.

В тот день, когда исследование обнаружило наличие чумных бацилл в крови Семипятова, муж легкомысленной дамы вернулся к обеду домой крайне нервно настроенный.

Жена пробовала узнать причину этого, но на все вопросы он отвечал, что чувствует себя здоровым, что ничего не случилось, что он спокоен и весел.

А между тем, его побледневшее, вытянутое лицо говорило совсем другое. Тогда у жены возникло опасение:

«А вдруг он узнал что-нибудь про репортера?»

И со всею энергией женщины, чувствующей себя в опасности, она принялась кокетничать, сердиться, ласкаться, лишь бы узнать, в чем дело.

Разумеется, бедный лаборант не выдержал. Да и можно ли вообще требовать от мужчины, чтобы он сохранил тайну от хорошенькой, настойчивой, не брезгующей никакими средствами женщины? Через полчаса она была уже в курсе дела, причем, узнавши секрет, прежде всего обрадовалась, что ее шашни не открыты, затем почувствовала ненависть к мужу, получившему задаром столько ласк, и, наконец, решила, что следует вознаградить себя за напрас-

ную тревогу, а своего возлюбленного за ту нежность, которая, принадлежа ему по праву, была в силу необходимости <истрачена> на мужа.

Поэтому, как только супруг улегся заснуть часок-другой после обеда, она написала и отослала в редакцию «Вечерней почты» записку, назначая любовнику свидание в одних второразрядных меблированных комнатах на Тверской, служивших дешевым, хотя несколько грязным приютом их счастья.

В назначенное время репортер был уже там.

Он всегда являлся на свидания за полчаса до назначенного срока, с трогательною аккуратностью человека, не имеющего счастья в любви и поэтому дорожащего раз завязавшимся романом.

Ему, впрочем, редко в чем-нибудь улыбалось счастье. Пройдя не без страдания ту пору вступления в жизнь, когда каждый человек чувствует, что призван прославиться и разбогатеть, он замерз в положении пасынка литературы, которому, в погоне за новостями, приходится больше работать ногами, чем головой.

Такому человеку нет надежды на лучшее будущее, потому что жестокая профессия держит его, не давая опомниться, перевести дух и приискать другое занятие.

Если он не женится на богатой невесте или не выиграет денег в лотерею, то оказывается обреченным в течение всей жизни питаться бутербродами из театральных буфетов, бывать чаще пьяным, чем сытым, и находить единственное утешение в желчном, обличительном тоне своих заметок, хотя и тут синий карандаш редактора часто мешает непонятой душе излить свое негодование.

Однако, всякий человек должен иметь хоть отдаленную, хоть бледную мечту для того, чтобы согласиться жить и переносить все житейские неприятности. Каторжник, осужденный на двадцать лет, мечтает о свободе.

Репортер мечтает о каком-нибудь невероятном, чудовищном, захватывающем событии.

Сенсационность — своего рода психоз каждого из этих людей. В ней их надежда на славу, на богатство, на лучшее

будущее. Самый скромный репортер не хуже Нерона сжег бы Рим, если бы знал, что он первым представит в свою редакцию описание пожара.

Неудивительно поэтому, что, когда жена лаборанта рассказала про чуму, ее возлюбленный весь обратился во внимание, хотя дело и происходило между двумя поцелуями.

— Как чума? Об этом ничего не пишут!

— Ну конечно, не пишут, потому что приказано хранить тайну.

Тайна!

Нет более магического слова для репортера. Романтическое настроение влюбленного сразу исчезло. Он вырвался из объятий своей подруги и, слегка побледнев, заходил по комнате.

Ему казалось, что за спиной у него вырастают крылья.

— Чума... Полиция хочет хранить тайну. Послушай, ты наверное это знаешь?

— Ну, конечно. Ведь муж же мой производил исследование.

— Может быть, он только пошутил?

— Вот тебе и на! Разве от этого увальня дождешься шутки!

Репортер волновался все более и более. В ушах его уже звенели фразы будущей газетной статьи.

Но любовница, обиженная его холодностью, иначе поняла это волнение, так что решила его успокоить.

— А ты уж и перетрусил, дуся. Ну, полно. Мало ли чего мой дурак наплетет. Вот он видит в микроскоп такие вещи, каких, может, и на свете нет, а у себя на голове не замечает огромных рогов. Перестань волноваться. Ну пойдя, поцелуй меня. Смотри, вот здесь, на шее, еще остался след от твоих зубов».

Но эти слова произвели совершенно неожиданное действие. Он побледнел и бросился к ней почти в ярости.

— Так может быть, твой муж ошибся, может быть, все это чепуха!

Еще никогда он не позволял себе так с нею обращаться. Жена лаборанта и без того была раздражена не идущими к

делу разговорами, а теперь совсем обиделась.

— Да что тебе так далась чума? Я и слышать-то о ней больше не хочу. Правда, неправда — не все ли тебе равно?

Но он схватил ее за руку и принялся трясти изо всей силы.

— Да скажи, наконец, толком. Правда ли, что в городе чума? Ведь у тебя ничего понять нельзя!

Она хотела вырваться, но не могла. Тогда бедняжка закричала истерическим голосом:

— Зверь, изверг! Конечно, в городе чума. Да еще какая! Пusti руку, мужлан! Если бы я знала!..

Конец фразы потерялся в рыданиях, но репортеру нечего было больше узнавать. Он выскочил из комнаты, как был, в расстегнутом жилете, с воротничком в руке и помчался прямо к редактору, оставивши свою возлюбленную размышлять о людской неблагодарности, сидя на развалинах былого счастья.

Редактор «Вечерней почты» был пожилой, унылый человек, хронически переутомленный ночною работой.

За двадцать лет редакторской деятельности, ему пришлось переиспытать множество всяких ощущений. Он и банкротился, и в тюрьме сидел, бывал высылаем и отдаваем под надзор полиции.

Его газету и штрафовали, и закрывали, и конфисковали, так что удивить его чем бы то ни было оказывалось теперь совершенно невозможным.

Поэтому, когда к нему ворвался репортер и забежал вокруг стола восклицая:

— Сенсация, сногшибательность, успех!

Он только критически взглянул на посетителя и рассеянно задал вопрос:

— Где это вы сегодня наклюкались?

— Я не пьян, — гордо возразил тот, — а приношу вам золотую россыпь. Завтра же вы будете богаты. Ни одна газета ничего еще не знает!

— Вот как! Что же у вас за новость?

Репортер поколебался, стараясь придать сообщению соответствующую форму, но прежде, чем успел придумать ка-

кую-нибудь забористую фразу, у него с языка сорвалось:

— В городе чума!

Редактор спокойно снял с носа очки, протер их, снова надел и только тогда спросил:

— Откуда вы узнали?

Вопрос был трудный. Репортер сделал скромное лицо и многозначительно произнес:

— *Этого* я не могу вам сказать; но известие безусловно верное.

— В таком случае, не мешайте мне больше работать. В течение последней недели мы опровергали сами себя уже восемь раз. Я не хочу, чтобы это случилось в девятый.

И редактор, повернувшись к столу, погрузился в прерванный пересмотр гранок.

Репортер побегал по комнате, ероша волосы, несколько раз начинал что-то говорить и обрывался, наконец подошел к спинке кресла начальника и, умоляюще глядя на его затылок сказал:

— Михаил Иванович! Ей-Богу, известие верное!

Он даже руку прижал к сердцу, но ответа не было. Редактор читал гранки.

Бедняга снова забегал по комнате. Он чувствовал себя в положении великого изобретателя, столкнувшегося с людскою косностью.

— Михаил Иванович! Вопрос об источнике известия затрагивает честь женщины. Судите сами, могу ли я как джентльмен...

— Значит, известие исходит от женщины! Ну, в таком случае я его уж наверное не напечатаю!

Сломленный этим упорством, доведенный до отчаяния, репортер наконец сдался. Для него ведь было невыносимо не воспользоваться добытым известием.

Он сел около стола и начал:

— Михаил Иванович! Я люблю жену лаборанта Х. Она меня тоже любит. И вот сегодня....

Не будем передавать романическое повествование сотрудника «Вечерней почты». Скажем только, что оно заста-

вило редактора отнестись вполне серьезно к принесенному известию.

Он откинулся на спинку стула и долго что-то обдумывал. Наконец вымолвил:

— И все-таки этого нельзя напечатать. С такими известиями нужно обращаться крайне осторожно. Разве спросить разрешения?

Репортер отозвался:

— Чего же просить разрешения? Ведь я же говорю, что решено пока хранить в тайне.

— Ну вот, так если напечатаем, они и запретят газету. А то, еще хуже, — штраф наложат.

— Но ведь была бы страшная розница!

— Что ж розница, коли потом запретят!

Последовало тяжелое молчание. Прервал его репортер.

— Михаил Иванович.

— Что?

— У вас какой тираж?

— Сами знаете. Не всегда пять тысяч наберется. Едва дышим.

Опять молчание. Потом снова:

— Михаил Иванович!

— Что?

— Имеете вы доход от газеты?

— Что вы глупости спрашиваете? Геморрой насидел на этом кресле, да ревматизм получил, когда был в тюрьме. Вот и весь мой доход.

Молчание.

— Михаил Иванович! Плюньте вы на запрещение. Пускай закроют; зато завтра будет тридцать тысяч розницы.

— Как же мне плевать на запрещение? Что же я тогда буду делать?

— Так ведь вы от газеты все равно ничего не имеете, а тут по крайней мере деньгу зашибете. Потом можно открыть «Утреннюю почту», если запретят «Вечернюю».

Редактор, видимо, был поражен целесообразностью этой идеи. Но он еще колебался и искал возражений.

— А если наложат штраф?

— Ну что же? Деньжонки спрячете в верное место, а сами отправитесь посидеть за неуплату. Что ж особенного посидеть в тюрьме? По крайней мере, ни кредиторы, ни полиция не будут тревожить. Отдохнете немного!

Перед репортером, приходившим в отчаяние при мысли, что новость пропадет задаром, теперь засияла надежда. Редактор опустил голову на грудь и сидел в задумчивости. Слышно было только, как он пробормотал:

— Отдохнуть!... это хорошо.

Наконец поднял голову и решительно вымолвил:

— Хорошо. Я согласен. Пишите заметку!

При этом он встал, указывая репортеру на свое кресло.

Тому первый раз в жизни выпала честь писать за редакторским столом.

Он схватил бумагу, перо, но прежде, чем приступить к работе, воскликнул:

— Михаил Иванович! А ведь я правду говорил, что такая новость — золотые россыпи!

Редактор только пожал плечами. Он сам не знал — совершает ли большую глупость или поступает очень умно.

Описанная здесь сцена происходила поздно вечером, а на следующий день вышел номер «Вечерней почты» с заметкою о чуме, украшенной таким количеством восклицательных знаков, какого хватило бы на целую книгу.

Первым последствием этого события была розничная продажа газеты в 30.000 экземплярах, вторым — запрещение газеты.

Михаил Иванович был, значит, хорошим пророком. Переживши благополучно чуму, он любил впоследствии хвастаться, что его газета пала одною из первых жертв эпидемии.

Что касается до репортера, он получил вознаграждение, какого заслуживала принесенная новость, после чего был и сыт, и пьян в течение целых десяти дней.

К чести его нужно, однако, сказать, что его не столько радовала материальная сторона успеха, сколько нравственная. Он безумно гордился тем, что «открыл» чуму, радовался ее успехам, как успехам любимого детища, и называл

себя королем репортеров вплоть до смерти, последовавшей в самый разгар эпидемии.

Вот каким образом случилось, что тайна, сберегаемая начальством, вышла наружу и вся Москва заговорила о чуме на другой же день после ее появления.

Впрочем, публика отнеслась к ней сначала без страха, как к простой злобе дня.

Казалось невозможным, чтобы этот средневековый фантом появился во всей своей силе и ужасе на улицах современного города, освещенных электричеством.

Наука так много твердила о своем всемогуществе, что люди чувствовали себя спокойными под ее защитой.

Чувство ужаса не появлялось ни у кого. Я знаю, например, что в одном доме дети целый вечер играли «в чуму» и родители только смеялись, глядя на эту забаву.

Много толков было о том, откуда взялась зараза. Некоторые лица, стоявшие близко к университету, даже предполагали, что виновники ее — бациллы, вырвавшиеся из лаборатории Хребтова.

Но ближайшее исследование показало несостоятельность такого предположения.

Лаборатория была хорошо изолирована, работы в ней прекратились за два с лишком месяца до первых заболеваний, наконец, заболевания произошли не в районе Девичьего поля, а очень далеко от него и жертвами пали лица, не приходившие в соприкосновение с персоналом лаборатории.

Впрочем, развитие эпидемии пошло таким быстрым ходом, что скоро перестали думать о ее происхождении, так как нужно было сосредоточить все силы для борьбы с заразою.

Сначала принялись изолировать те дома, где имели место заболевания, уничтожать вещи умерших, держать в карантине всех, кто с ними соприкасался.

Но через несколько дней такие меры оказались невыполнимыми, потому что начали заболевать десятки людей, притом в различных частях города.

Сначала пробовали прививать кое-кому античумную сы-

воротку доктора Хавкина, но действие ее оказалось ненадежным, да и запас истощился очень быстро.

Тогда объявили строжайший карантин, подобно железному кольцу отрезавший зачумленный город от всего мира.

С этого момента население Москвы, бывшее все еще спокойным, начало волноваться, чувствуя, что события принимают зловещий характер.

Самые благоразумные, самые уравновешенные люди и те ощутили страх.

Мысль о чуме стала господствовать над умами, потому что обособленность города и остановка городской жизни, созданная карантином, всем действовали на нервы.

А болезнь, словно в ответ на принимаемые против нее меры, делалась все более и более свирепой. Газеты ежедневно возвещали о ее триумфах. Сначала десять заболеваний в день, потом двадцать пять, наконец сто.

Каждый день удваивалась роковая цифра. Хотя и было сделано распоряжение публиковать ее в уменьшенном виде, но молва своими преувеличениями исправляла недомолвки газет.

На улицах появились специальные герметически закрывающиеся повозки для перевозки больных и трупов. Было открыто множество больниц и больничных бараков для лечения и изоляции зачумленных.

Кто мог бежать, тот бежал. Оставшиеся чувствовали себя как люди, живущие на вулкане.

Каждый задавался вопросом — не повезут ли и его завтра в одной из этих страшных санитарных повозок, которые народ прозвал «братскими могилами».

А весна была сухая, жаркая, и скоро число жертв перевалило за тысячу человек в день. Врачи, специально занимавшиеся перед этим изучением чумы, говорили, что московская эпидемия вдвое сильнее, заразнее, смертельнее, чем все известные до сих пор.

Даже у них, привыкших ко всяким ужасам, опускались руки перед дьявольским детищем Хребтова.

Что же должны были переживать люди, непривычные к сильным ощущениям, для которых даже повседневные

мелочи, вроде карточного проигрыша или ссоры с женой, были событиями, бьющими по нервам?

Что должны были испытывать эти несчастные, оказавшись вдруг лицом к лицу со страшным призраком?

Приходилось напрягать последние силы, чтобы, несмотря на такое положение, сохранить здравый смысл.

Город замер, стал тихим, как пустыня. Газеты перестали выходить, театры закрылись, церкви опустели. Торговля и промышленность остановились, повседневные интересы иссякли.

Никто не мог больше сказать про себя, что он живет. Жизнь превратилась в томление. Спокойствия больше не существовало.

Было уныние, мрачные предчувствия и сознание полной беспомощности. Там, где сходились двое людей, между ними незримо присутствовал некто третий — чума.

Тогда начал царствовать над городом слепой, нерассуждающий, мрачный ужас.

Он появился из Замоскворечья, из консервативной части города, населенной купцами, где до сих пор хранятся старые обычаи, где не доверяют науке, смеются над культурой и верят в черта.

Там, с самого начала эпидемии, принялись служить молебны, совершать крестные ходы, «подымать» чудотворные иконы, курить ладаном.

Купчихи, наговорившись о чуме во время бесконечного вечернего чаепития, не спали потом всю ночь, в ужасе ожидая, что вот-вот придет смерть и прервет их сладостное прозябание.

Во тьме таких ночей, среди вздохов и молитвенного шепота, родилось множество легенд о чуме, страшных и чудовищных, по сравнению с которыми действительность казалась бледною недомолвкой.

Легенды перешагнули реку и разнеслись по всему городу. Им не верили, но они заполняли атмосферу, насыщали ее ужасом, делали настроение, как выражаются современные художественные критики.

Под влиянием этого настроения, пошатнулись самые

положительные, здоровые умы. Не осталось человека, который рассуждал бы во время чумы так же, как до чумы. Границы возможного раздвинулись, повальная истерия заменила здравый смысл.

А ужас положения, между тем, все возрастал.

Хотя съестные припасы доставлялись в город заботами правительства и количество их было рассчитано на потребности населения, но среди лиц, заведовавших этим делом, нашлись такие, которые воспользовались случаем составить себе состояние, расхищая припасы или поставляя недоброкачественные.

Кроме того, распределение провианта по кварталам, среди всеобщего замешательства, оказалось задачей невыполнимой.

Поэтому в одних улицах нельзя было найти даже корки хлеба, между тем как в других продукты лежали без потребителей.

Те немногие купцы, которые не закрыли лавок, считали необходимым вознаградить себя за риск, назначая непомерно высокие цены.

Полиция пыталась бороться против этого, но ничего не могла сделать.

Результатом всего явился форменный голод среди беднейших, трудовых классов населения, оставшихся вдобавок без работы, так как все фабрики остановились.

Тот, кто был до сих пор всегда сыт по горло, теперь жил впроголодь. Легко себе представить, что случилось с теми, кто и раньше едва сводил концы с концами!

А ведь таких живет по окраинам города целый народ!

И вот, десятки тысяч людей, ранее прятавшихся по своим углам из страха перед заразою, теперь вышли на улицу, гонимые голодом.

По пословице «на людях и смерть красна», выражающей в человеке могучий стадный инстинкт, они соединились в толпы, главным местопребыванием которых была центральная часть города.

Улицы, казавшиеся пустынными в первый период эпидемии, теперь были полны праздных, идущих без цели,

стоящих, разговаривая, или сидящих людей.

Тут были мужчины, женщины, старики, старухи, дети и собаки.

Многие перетаскивали с собою весь свой скарб — какие-то узлы, свертки, ящики. Течение этих толп, пестрых и грязных, кипящих исковерканными голодом и ужасом лицами, напоминало шествие варварских армий эпохи переселения народов.

Иногда им удавалось разграбить повозку со съестными припасами, иногда они разбивали какой-нибудь магазин, где алчный хозяин скрывал продукты, дожидаясь нового повышения цен, иногда частные благотворители раздавали на улице пищу, но все-таки, если сосчитать общее количество припасов, полученное толпой, то окажется, что на каждого человека приходилось слишком много, чтобы умереть с голоду, и чересчур мало, чтобы быть сытым.

Несмотря на это, порядок на улицах нарушался мало. Полиция сохраняла еще тень авторитета и призрак силы.

Настроение толпы было мирное, даже подавленное. Эти люди соединились не для грабежей, не для насилия, а просто потому, что каждому была страшна мысль пойти домой и там ожидать смерти в одиночестве, без сочувственного взгляда, без дружеского слова.

Ощущения масс выражались не проклятиями мужчин, а причитаниями женщин. «Перст Божий» — «кара за грехи», — вот слова, которые чаще всего приходилось слышать и пассивное, фаталистическое отношение русского народа к смерти сказывалось в них с полной силой.

Неизвестно кем направляемые, толпы ходили по улицам, разделялись на группы, рассеивались и снова собирались.

Пользуясь на редкость теплой погодой, они ночевали на бульварах и в скверах, напоминавших тогда гигантский табор цыган.

Это были настоящие кочевые орды, многочисленные, как песок морской. Я думаю, Москва в эти дни первый раз увидела, как много у нее жителей нищих, угнетенных, обездоленных.

Нечего и говорить о том, какую обильную жатву косила

среди них чума.

В толпе бродили люди зараженные, уже чувствующие первые признаки болезни; на скамейках бульваров, на ступенях домов в корчах умирали жертвы.

Мертвецов скопилось так много, что их не успевали увозить.

Конечно, трупов избегали; конечно, люди питали друг к другу недоверие и часто на улице слышался вопрос: «А ты не болен?» Но никаких взрывов страстей на этой почве не было.

Все были так полны страхом, что жались друг к другу, несмотря на опасность заразы.

Таково было положение вещей недели через три после начала эпидемии. Но, хотя толпа была тиха, хотя толпа была пассивна, всякий понимал, что она представляет собою силу, способную в любой момент овладеть городом, стеревши с лица земли все, что задумает сопротивляться.

Можно бороться с народным восстанием, можно бороться с фанатическими ордами диких племен, можно бороться со всякою человеческой толпою, пока люди, составляющие ее, хоть сколько-нибудь боятся смерти, хоть немного думают о будущем.

Но народ, заливавший улицы Москвы, был совсем иного рода. Он сплошь состоял из людей, которым нечего было терять, которых и смерть не страшила, потому что каждый из них все равно считал себя обреченным на гибель от чумы.

Стоило вывести эту толпу из состояния пассивности, чтобы она превратилась в непобедимую стихию.

Все сознавали это. Угроза анархии, как темная грозовая туча, висела над головами москвичей.

Сознавал это и генерал-губернатор. Но средства, находившиеся у него в руках для борьбы с опасностью, были ничтожны.

Он объявил город на военном положении. Однако эта мера, такая крайняя, такая жестокая в обычное время, теперь оставалась простою бумажной угрозой.

Что значит военное положение, когда войска, занятые

карантинной службой, утомлены, малочисленны и деморализованы, когда извне, из здоровых местностей, никто не решится послать подкрепление в зачумленный город, а полиция, между тем, уменьшилась на две трети своего состава вследствие смертности и дезертирства?

На бумаге, в канцелярии генерал-губернатора, слова «военное положение» выглядели грозно; на улице же, среди всемогущей толпы, они звучали злою насмешкой над той силою, которая может победить массы, руководимые идеей, но бессильна против тех же масс, когда их приводят в движение животные инстинкты.

Москва была осуждена испытать ужас двух соединенных бедствий — чумы и анархии.

Ничто уже не могло ее спасти, так что каждый лишний день, проходивший в сравнительном спокойствии, был лишь случайною отсрочкой неминуемого бедствия.

Нужен был какой-нибудь ничтожный повод, чтобы разжечь всегда присутствующий во всякой толпе обездоленных слепой гнев, чтобы дать ей почувствовать свою силу, чтобы привести в действие дремлющие животные инстинкты.

Этим поводом послужил арест одного уличного проповедника — священника Ризова.

Но прежде чем описывать, как это произошло, я должен сделать маленькую оговорку.

Многие историки приписывают священнику Ризову все последовавшие ужасы, будто бы вызванные его проповедями. Я держусь совершенно иного мнения.

По-моему, он сыграл лишь пассивную роль искры, брошенной в кучу пороха. Чтобы подтвердить это, я постараюсь подробнее изобразить его карьеру и показать, как мало он подходил для роли, которую ему навязывают.

До начала эпидемии, никто не знал Ризова. Он занимал место при одной из бедных церквей на окраине города, отличался застенчивостью, нелюдимостью и невзрачностью.

Даже собственные прихожане обращали на него мало внимания, а между тем, он был человеком с колоссальным

честолюбием.

При полном отсутствии способностей, при очень посредственном уме, при ничтожном запасе воли, он постоянно и страстно мечтал о славе, о значении.

Скромная доля и бедность казались ему оскорблением, величайшей несправедливостью со стороны судьбы.

Влача свое серое существование, он в то же время был глубоко убежден, что рано или поздно явится на сцену высшая сила, которая толкнет его на новую великую деятельность.

Это убеждение доходило у него до психоза и в глубокой тайне от всех, даже от своей жены — несчастной, забитой женщины, единственного существа на свете, которому он внушал страх — священник Ризов предавался безумным грезам честолюбия.

Появление эпидемии дало им новое направление, облекло их в определенную форму. Он решил, что чума пришла именно для него, чтобы дать ему случай возвеличиться.

Теперь он уже не колебался в своем призвании и отправился проповедовать на улицах, среди толпы, вкладывая в то, что говорил, всю пылкость, всю непоколебимую убежденность фанатика.

Какую он имел цель? В чем заключалась сущность его идей?

Этого невозможно определить. Самогипноз честолюбия довел этого человека до состояния, похожего на наитие свыше. Он действовал бессознательно, руководясь единственным стремлением — потрясти сердца слушателей.

И то, что месяц тому назад показалось бы всякому бредом больного человека, теперь производило впечатление откровения. Не столько содержание проповедей, сколько их тон и страстный характер производили неотразимое действие на взбудораженные, угнетенные ужасом умы. С каждым днем успех Ризова рос. Были даже интеллигентные люди, которые ничем другим не занимались, кроме странствования вослед за ним из одного конца города в другой и слушанием его проповедей.

Куда бы он ни шел, где бы он ни говорил, вокруг него сейчас же собиралась огромная толпа почитателей и эта атмосфера всеобщего поклонения, доводила его, самого посредственного попа, до такого экстаза, что по временам он действительно казался необыкновенным человеком.

Манеры и приемы его напоминали юродивого или бесноватого. Содержание речей сводилось к сплошному обличению и издевательствам. Изобрести что-нибудь свое, какую-нибудь систему или основную мысль ему было не под силу. Он только громил всех и вся, но зато в ярости своей не знал пределов.

Сегодня он нападал на богатых, завтра на бедных, один раз от него доставалось науке, другой раз невежеству.

Бывали случаи, когда в исступлении Ризов начинал богохульствовать, но аудитория этого не замечала, потому что к концу проповеди находилась в состоянии полусумасшествия.

Конечный вывод всех его поучений был один и тот же: что ничего, кроме смерти, человек не заслуживает, что давно уже пора покончить с этим греховным миром, что те, кто умирает от чумы, должны радоваться, ибо не доживут до серного дождя и огненного града, время которых уж близко.

В городе смерти он восхвалял смерть и обреченные слушали с упоением, потому что после его речей неизбежный конец казался осмысленным, а призрак чумы терял ужас нелепости, бессмысленности, которая так страшна в стихийных проявлениях природы.

Ризов сделался кумиром одичавшей толпы, наводнявшей улицы. Если в дни, предшествовавшие анархии, кто-нибудь пользовался в Москве силою и авторитетом, так это именно он.

Обезумевшее стадо шло за безумным пастырем.

Подобные ему люди с узкими, но крепкими лбами приобретают удивительную силу в те моменты, когда история начинает бредить.

Но, при всей силе своего влияния на народ, Ризов был совершенно безопасен, потому что, гонясь только за лич-

ной популярностью и надеясь больше на вдохновение, чем на ум, никогда не решился бы перейти от слов к делу.

К сожалению, этого не понимали в генерал-губернаторском доме. Туда дошли слухи о священнике, собирающем толпы народа, говорящем зажигательные речи, и перепутанная администрация решила, что взрыв, которого боялись, готов произойти, ибо толпа нашла себе предводителя.

Долго думали, волновались, советовались, наконец придумали в виде последней, отчаянной меры арестовать агитатора.

Это решение, неудачное по существу, могло бы пройти без последствий, если бы было приведено в исполнение благоразумным способом.

Можно было выследить Ризова в одном из домов, где он ночевал, можно было заманить его в частную квартиру и там арестовать без шума, не вызывая в толпе опасного раздражения, не давая ей повода сопротивляться властям.

Но полиция поступила как раз наоборот.

Полицейский офицер, в сопровождении десятка городских, явился производить арест в то время, когда Ризов говорил проповедь на Тверском бульваре.

Он стоял на скамейке в своей потертой грязной рясе, растрепанный, дикий на вид, и кричал, обращаясь к толпе, голосом, охрипшим от постоянного напряжения:

— Братья! Все мы, сколько нас ни есть, паршивые овцы. Зачем кичиться, зачем надевать пестрые одежды? Зачем делать то и это, пытаясь представиться настоящими людьми?

Кто не пьянствовал, кто не развратничал? Кто не думал о собственном брюхе?

Все мы, все виноваты. Никто не лучше других!

Так покажем же друг другу лица, красные от стыда. Выпачкаем одежды грязью, чтобы они не были чище наших душ.

Не будем лгать и притворяться хоть перед смертью, ибо смерть ждет всех нас и каждому заглядывает в глаза.

Братья! протянем смерти наши объятия, в ней наше единственное спасение!..

Огромная масса народа слушала его крики в глубоком молчании.

Одни, сами того не замечая, кивали головою в такт безумным речам, другие, с неподвижными, словно окаменевшими лицами, с открытыми ртами, неотступно глядели на проповедника.

Здесь происходил тот гипноз масс одним человеком, то повальное сумасшествие, примеры которого рассеяны по всей истории.

Вдруг около скамейки показалась фигура пристава, одетого в серое пальто, с пашкою через плечо. Он что-то говорил снизу вверх священнику, тот, сверху вниз, что-то ему отвечал.

Толпа начала гудеть, словно постепенно просыпаясь от сна. У всех явилась инстинктивная неприязнь к этому серому пальто, всегда враждебному массе простонародья.

Но то, что бывает неприязнью у сытого человека, у голодного становится гневом. Поэтому, еще не зная, в чем дело, толпа шумела все грознее и грознее.

— Братья! — крикнул в эту минуту священник, выпрямляясь над сотнями голов.

— Вот он приказывает мне замолчать. Должен я молчать или нет? Кого мне слушаться: полиции или моего Бога?

В ответ загревели яростные крики.

— Не замай! Уходи по добру! Чего лезешь?

Полицейский обернулся и стал что-то говорить. Он был мертвенно бледен и это еще увеличило всеобщую неприязнь. Его не слушали, кричали, чтобы он уходил, раздались грубые ругательства, некоторые стали издеваться.

Он повысил голос и с видимым отчаянием, окончательно теряя голову, стал выкрикивать угрозы.

Сквозь шум можно было разобрать:

— Приказание начальства... войска... велю стрелять.

— Родименький! Уходил бы лучше! — вдруг пронесся визгливый бабий голос из задних рядов.

Но общее настроение толпы было иное. Она ревела и надвигалась. Кто-то схватил полицейского за рукав и дернул в сторону. Остальные окружили его со всех сторон. Обра-

зовалась куча толкающихся людей, среди которой моталось из стороны в сторону серое пальто и бледное как мел лицо.

Единственной целью нападавших было выбросить его из толпы, прогнать. Но, так как одни толкали в одну сторону, а другие в другую, то он оставался на месте, лицом к лицу с десятками злобных физиономий, среди мелькающих кругом кулаков.

Охваченный животным страхом, он вытащил револьвер и в то время, как полы его пальто трещали, а голова моталась от резких толчков, произвел выстрел.

Промаха не могло быть в этой толпе,

Какой-то мужчина в изношенном пиджаке, с небритым подбородком и опухшими глазами, на вид фабричный, получил пулю в живот.

Он схватился за рану, согнулся, искрививши лицо, и сел на землю. Сквозь пальцы у него стала просачиваться кровь, образуя живое, алое пятно на фоне серой фигуры.

Толпа, бывшая еще далеко от мысли об убийстве, ахнула и отступила. Но уже в следующий момент все лица сделались зверскими и в воздухе пронесся вопль:

— Бей!.. Бей его!

Священник Ризов, до сих пор с любопытством глядевший на все, что происходит кругом, вдруг взмахнул лапами рясы и сделал огромный, несуразный прыжок со скамейки, пытаясь выбраться из толпы.

Полицейский попробовал было бежать, но уже на втором шагу был сбит с ног и подмят кинувшимися на него людьми.

Посредине бульвара образовалась бесформенная груда ползающих и вертящихся тел, в которой мелькали искаженные лица, скрюченные руки, ноги в сапогах и опорках.

Все это наносило удары, мяло, душило. Окружающие так жались к этому месту, что многие помимо воли попадали в кучу борющихся. Их сталкивали туда задние ряды, стремившиеся посмотреть на свалку.

Вдруг среди толпы упало несколько человек, раздались крики и стоны. Вся масса хлынула, бросилась бежать, давя

друг друга.

Это отряд городских дал залп, чтобы освободить своего начальника.

Но шум побоища был так велик, что заглушил треск выстрелов. Только после второго залпа с бульвара убежали все, кто мог бежать. Тогда на песчаной аллее остались лишь трое тяжело раненых да труп пристава, изуродованный, раздавленный, покрытый черными и серыми лохмотьями.

Кругом на песке валялась масса обрывков одежды. Крови почти не было видно.

Перед этой картиной стояли городовые с растерянными, перепуганными лицами, держа револьверы в руках.

А дальше, на тротуаре, прижавшись к домам, кипела толпа, вооружившаяся камнями и палками, изрыгавшая тысячу проклятий.

Первый, панический испуг прошел. Людьюми овладело безумие ярости, то состояние, когда кровь заливает голову и мешает видеть опасность, когда за возможность нанести удар человек способен пожертвовать жизнью.

Среди первых рядов кривлялись и проклинали женщины, еще менее похожие в этот момент на людей, чем мужчины.

Маленькая черная кучка городских стояла в нерешимости перед этим морем кричащих ртов и угрожающих рук. Скоро в нее полетели камни. Тогда городовые начали медленно отступать, а толпа, едва заметивши это движение, покати́лась на них, непреодолимая, кровожадная.

Несколько человек было убито выстрелами из револьверов. Но уже ничто не могло сдержать натиска. Первые ряды не могли остановиться, если бы даже захотели, потому что их толкали задние. Произведя несколько беспорядочных залпов, городовые бросились бежать и всем им, кроме одного, удалось ворваться в соседний дом и там запереться.

Этот один несчастливец получил удар камнем в голову, споткнулся и упал, причем его фуражка откатилась далеко по мостовой.

Затем он хотел подняться, но моментально и его и фуражку залила масса бегущих людей. Толпа пробежала и ос-

тавила за собою истерзанное тело в луже крови, смешанной с уличною пылью.

Какая-то старуха, ковыляя, поспевавшая за последними рядами, остановилась и долго с любопытством разглядывала мертвеца.

Даже приподняла одну из раскинутых рук и неодобрительно покачала головою, когда та снова упала на камни.

Потом, бормоча: «Грехи тяжкие!», она поплелась дальше, туда, где людские волны с воем штурмовали запертый дом.

На бульваре, вместе с трупами, остался только один живой человек — священник Ризов.

С самого начала побоища он выбрался из давки и наблюдал за всем происходящим издали, не зная, как поступить.

Присоединиться ли к толпе и, заняв место предводителя, вести ее на кровопролитие?

Или вступить в нее с твердым, отрезвляющим словом и попытаться водворить порядок?

Но оба эти решения не подходили, потому что прежде всего он боялся толпы.

С того момента, как она представилась ему не восхищенной, не восторженной, а рычащей и бьющей, он почувствовал безумный страх и теперь ни за что в мире не решился бы показаться на глаза тем людям, внимание которых опьяняло, вдохновляло его час тому назад.

Ризов был болтуном. Только болтуном. Всякий переход от слова к делу вызывал у него страх и неуверенность.

Он мог царствовать, пока скопища народа довольствовались словами. Когда они перешли к делам, его роль оказалась сыгранной.

И, ясно ощущая это, он прятался за деревья бульвара, боясь, что его заметят, что о нем вспомнят. На лице его нельзя было прочесть ничего, кроме скотского страха. Это был опять забитый, обездоленный судьбою поп с угловатыми, неловкими движениями, с согнутою спиной и семенящею походкой.

Настроение толпы подняло его на пьедестал и оно же

сбросило его вниз.

С этого момента история ничего уже больше не знает о священнике Ризове.

VII

Ночь, наступившая вслед за расправою толпы с городскими на Тверском бульваре, была ночью насилий и погромов.

Толпа увидела кровь, почувствовала свою силу и разгулялась на свободе.

Никто не спал эту ночь в Москве. Люди, казавшиеся изнеможенными от ужасов чумы, неспособными пугаться или удивляться, нашли силу, чтобы дрожать перед анархией.

Город бодрствовал при свете пожаров.

Могильная тишина, навеянная эпидемией, сменилась хаосом разгульных криков, стонов, воплей, звона бьющегося стекла и треском пламени, пожирающего сухое дерево.

Кто предводительствовал толпою? Кто вел ее в то или другое место, указывал тот или иной исход ее разрушительным страстям?

Это навсегда останется тайною. Движение стихий не поддается анализу, а инстинкты, проявившиеся в эту ночь, были чисто стихийного характера.

Они слагались из великого гнева обездоленных, веками в молчании наблюдавших, как счастливо и сыто живут немногие избранные, из отчаяния обреченных на смерть, из раздражения голодных, из животной страсти к насилию, к разрушению, живущей в детях и варварах.

Поэтому схватка на Тверском бульваре была лишь прологом к наступившим вслед за нею событиям.

Дом, в котором заживо сгорели спасавшиеся от толпы городские, еще догорал, лежа в развалинах, а с разных сторон, в разных концах Москвы уже разгорались новые пожары, освещая своим заревом нежное вечернее небо, усеянное звездами.

Многие из поклонников Ризова хватились его сейчас же после расправы с городовыми.

Искали повсюду и, нигде не найдя, крикнули толпе, что он арестован.

Едва эта весть успела распространиться, как несколько сот человек направились к зданию ближайшего полицейского участка, рассчитывая найти его там и освободить.

Их поиски оказались напрасными, но тем не менее, участок был разгромлен. Переломали мебель в канцелярии, вытащили все бумаги на улицу и сложили из них костры.

Но этого показалось мало и здание участка было тоже подожжено.

Между тем, толпа на Тверском бульваре все росла. Со всех концов прибывали сюда группы людей привлеченных быстро разнесшеюся молвой о погроме.

Вид развалин пробуждал в них жажду нового разрушения. Немедленно образовалось несколько партий, которые отправились грабить магазины в ближайших улицах. Затрещали выламываемые двери и окна, посыпались на улицу бесполезные или не нравящиеся толпе товары. Хозяева магазинов прибегали с криком и протестовали, но над ними только издевались. Некоторых, впрочем, поколотили и помяли, потому что они пытались защищать свое добро, не соображая с перепуту, как это бесполезно.

Там, где в ряду разбиваемых магазинов попадались съестные припасы, толпа скупивалась и в молчании поглощала все съедобное. Коробки с консервами вскрывали, разбивая о камни мостовой.

Забавно было видеть, как какой-нибудь чернорабочий, украшенный только что приобретенными золотыми часами, запускал грязные пальцы в жестянку с омарами, пробовал содержимое, потом отплеывался и с ругательством отбрасывал жестянку.

Несколько городских выглядывали издалека, прячась за углы улиц, но были совершенно беспомощны остановить грабеж.

Так как на улицах потемнело, погромщики начали зажигать костры, материал для которых брали из соседних до-

мов. Горели книги, мебель, картины. Никому не приходило в голову поискать дров.

При блеске пламени, картина приняла фантастический и странный характер. Настроение толпы делалось все более буйным. Если ей случайно попадался в руки прилично одетый человек, его подвергали насмешкам, побоям, разрывали и пачкали на нем платье.

В глубине квартир близлежащих домов происходили еще более мрачные сцены, потому что нервное напряжение обострило чувственные инстинкты толпы.

То здесь, то там, можно было видеть молодых парней, которые выходили из домов с разгоревшимися лицами, перешептываясь и пересмеиваясь между собою, как сообщники.

Район погрома все расширялся, отмечаемый заревом костров, гулом, криком, песнями толпы, а подчас и выстрелами.

Пощадивши целый ряд кварталов, он перекинулся от центра города в Соболев переулок и на Драчевку. Туда явилась толпа, состоящая из мужчин и женщин, чтобы разгромить публичные дома.

Всякий, знающий Москву, представляет себе хоть понаслышке эту местность, где улица, круто поднимающаяся на гору, сплошь застроена домами терпимости.

Днем здесь все тихо и мертво. Извозчиков нет, прохожие встречаются очень редко, все окна закрыты ставнями, как будто стыдятся глядеть на дневной свет.

Зато вечером картина меняется, превращаясь в сплошную, безобразную оргию.

Из всех домов льется свет, пролетки извозчиков неистово гремят по мостовой, со всех сторон несутся звуки грубой, фальшивой музыки, пьяные крики, смех и восклицания.

Животное в человеке торжествует здесь каждую ночь свою победу среди ярких огней, отраженных зеркалами, среди накрашенного тела, отравленного развратом, среди густой атмосферы косметиков, вина и человеческого пота.

Но в этот вечер, обычная вакханалия уступила место но-

вой.

Вместо оргии разврата и грязи, здесь совершилась оргия разрушения, самовластия, грубой силы, не знающей удержу.

Вместо мелкой нравственной нечистоплотности, эта ночь была посвящена буйной страсти. Вместо сотен отдельных животных, сегодня явился один гигантский зверь — толпа.

Когда волны народа заколыхались в Соболевом переулке и гул голосов охватил дома со всех сторон, как шум морского прибоя, обычная жизнь в заведениях еще не просыпалась.

Окна и двери были повсюду заперты, но это, конечно, не составило препятствия для толпы.

Едва она поравнялась с первым заведением, кучка парней вбежала на крыльцо и одним мощным натиском, не стучась, не звоня, выломала двери.

За ними побежало еще несколько человек. Другие направились к следующим домам, часть же толпы, главным образом женщины, остались на улице, выжидая, что будет дальше.

План разгромов, начавшихся сейчас же по всей линии переулка, был везде одинаков.

Ворвавшиеся начинали с того, что били и ломали обстановку. Кто-то придумал открыть окна и начать выбрасывать через них разные вещи на потеху толпе.

Это изобретение имело успех и его начали повторять во всех домах. Погром принял не трагический, а шутовской характера.

На мостовую летели перины, из которых тотчас же выпускали пух. С глубоким стоном падали и разбивались о камни рояли. Стулья, столы и кресла часто оставались почти целыми после падения, но толпа немедленно их доламывала.

Смешно было видеть людей, которые, вооружившись топором или просто поленом, серьезно и усердно разбивали разные вещи, будто делали дело.

Участники погрома забавлялись от души.

Падение рояля приветствовалось восторженным ревом.

Шутки и хохот не умолкали.

Особенно весело встречались вылетающие из окон принадлежности туалета. Привязная коса, которая повисла, зацепившись за раму, жалкая и растрепанная, вызвала взрыв смеха, который, наверное, был слышен за несколько кварталов.

Когда находили в спальнях коробки с пудрой, ее попросту высыпали на головы толпы.

Женщины, проявлявшие гораздо более злобы, чем мужчины, набрасывались, как тигрицы, на пестрые платья, вышитые блестками, обшитые позументами, и рвали их в клочки.

Эта дешевая роскошь казалась им воплощением того мамона, которому продается женское тело.

Обитательницы домов начали выбегать из них при первых звуках погрома.

Они высказывали полуодетые, растрепанные, со следами животного страха на лицах, заплывших от дневного сна и еще не покрытых румянами.

Они металась без толку, как звери, внезапно выгнанные из логовища. Хотя никто их не обижал, они визжали и плакали.

Были такие, которые, придя в себя и убедившись в собственной безопасности, начинали тешиться погромом и помогали разбивать вещи с такою злобною радостью, будто мстили за обиды всей своей жизни, но большинство вели себя иначе.

Собравшись в кучу, прижавшись друг к другу, они тупо, испуганно смотрели на все происходящее кругом.

Их никто не трогал. Толпа только подшучивала над их растерзанным видом, над голым телом, которое они беззастенчиво выставляли на показ.

Общее отношение к ним было отчасти насмешливое, отчасти сострадательное, но, во всяком случае, не злобное.

Несколько женщин из толпы начали было кидать в них грязью, осыпать их руганью, но мужчины сейчас же это прекратили.

Вообще, если не считать одного хозяина заведения,

которого убили за то, что он с револьвером в руках хотел защищать свое добро, да нескольких профессиональных воров, которых поймали в притоне и повесили, жестокостей здесь не совершалось.

Там, где много смеются, — редко льется кровь.

Несколько позже погромов в Соболевом переулке, приблизительно около полуночи, по всей Москве начался разгром тюрем и арестных домов с целью выпустить арестантов.

Хотя русский народ испокон веков смотрит на всяких узников как на «несчастненьких», хотя он привык видеть преступников разгуливающими на свободе, а невинных идущими в каторгу, почему его симпатии всегда на стороне арестантов и против полиции, все-таки разгром московских тюрем не был непосредственным проявлением темперамента толпы, а явился последствием агитации.

Дело в том, что несколько горячих голов из революционной молодежи сделали этою ночью попытку использовать настроение толпы для своих целей.

Попытка не удалась, потому что люди, забывшие среди чумы и погромов о завтрашнем дне, не могут заботиться о перемене правительства, но одна часть плана революционеров — освобождение заключенных, — пришлось по душе народу и была им выполнена.

Если разгром публичных домов носил шутовской характер, то с тюрьмами дело обстояло иначе. Сцены, происходившие здесь, отличались мрачной беспощадностью, кровь лилась в изобилии, были моменты, когда в людях, казалось, исчезало все человеческое.

Караульные солдаты повсюду оказывали стойкое сопротивление. Толпа устилала мостовую своими трупами, но сознание опасности было так же мало ей доступно, как стае бешеных волков.

Вид крови и смерти уничтожил последние остатки сознания.

Все, кто сопротивлялся, нещадно избивались. Вырвавшиеся арестанты придавали действиям толпы особенную жестокость, потому что хотели мстить своим тюремщикам.

Были случаи варварской расправы с жандармами, с тюремными надзирателями, даже с их семьями.

Были случаи глумления над трупами убитых.

Старики-фабричные, помнившие времена восстания на Пресне, устраивали пародии военно-полевого суда и расстреливали всякого человека, одетого в казенную форму.

Но этого мало. В то время как побоище бывало окончено и толпа с торжеством поджигала здание, от нее отделялись одиночные люди, даже целые группы людей, чтобы, рассеявшись по ближайшим улицам, искать, на кого бы напасть, кого бы убить или изнасиловать.

Они находились в состоянии полнейшего зверства, зверского помешательства, если можно так выразиться. Единственным оставшимся у них побуждением была жажда насилия, потребность мучить, терзать, слышать вопли, стоны, предсмертный хрип.

Путь этих людей, во тьме замерших от ужаса улиц, обозначался разгромленными квартирами, истерзанными трупами, тысячью знаков утонченного человеческого зверства, перед которым бледнеют даже ужасы чумы.

Незадолго до рассвета, когда со всех сторон на небе сияли зарева пожаров, отмечая путь погромов от одного конца города до другого, бесчинства толпы стали затихать.

Произошло это оттого, что она разбилась на множество маленьких толп, занявшихся, одна за другою, разбиванием винных лавок.

Конечно, лавки никто не защищал и великая отрава земли русской полилась рекою. Утомленная вакханалией ужасов толпа пила с жадностью, забывая всякую меру.

Пили все: мужчины, женщины и дети. Пили, чтобы заглушить голод, чтобы заглушить упреки совести, чтобы прогнать призрак чумы, выставший за спиною, как только проходила погромная горячка.

Пили мрачно, молчаливо и, напившись до потери сознания, падали на мостовую, переходя от кошмара действительности к глубокому сну.

Кое-где против винных лавок, напившиеся парни начинали петь и плясать, словно дело происходило на приход-

ском празднике. Их скачущие, колеблющиеся силуэты, их неестественные резкие голоса довершали ужас картины.

В других местах между пьяными начинались кровавые драки. Немало людей было при этом искалечено и убито.

Но понемногу дурман брал свое и наконец в городе воцарилась тишина.

Это была самая страшная тишина, какую только себе можно представить, тишина организма, истерзанного пыткой, который, благодаря обмороку, на минуту перестает страдать.

На месте погромов дымились развалины, лежали в лужах крови искалеченные трупы, на тех улицах, где разбивали магазины, мостовые были усыпаны всевозможными товарами, тысячью дорогих блестящих вещей, которые еще недавно украшали жизнь человека, давали ей прелесть и содержание, а теперь, изорванные, растоптанные, валялись в грязи.

Вокруг каждый винной лавки, сколько их ни было в городе, огромными грудями спали пьяные люди, покрытые потом, грязью и кровью.

Одни спали спокойно, открывши рты, тяжело храпя, раскинувши по мостовой руки и ноги.

Другие даже во сне не могли успокоиться: метались, бормотали, кому то, бессвязно грозили.

Некоторые стонали во сне. Лица их пылали пурпуром, страшный озноб потрясал тело.

На этих уже наложила свою цепкую руку чума.

Рядом с живыми спали вечным сном мертвые, потому что, засыпая вчера вечером, никто не обращал внимания на такое соседство.

Густые испарения, пропитанные запахом водки, крови, гарью и зловонием трупов, поднимались от города к утреннему небу, которое несмотря на это, казалось бесконечно чистым и нежным.

Генерал-губернатор города Москвы провел эту ночь без сна, бегая по комнате, сходя с ума от сознания своего бессилия.

Сначала он пробовал распоряжаться, но скоро убедил-

ся, что все его подчиненные разбежались, что исполнять приказания некому, так как даже полиция в панике ищет спасения где попало.

Правда, можно было бы набрать горсть солдат, по разным причинам не пошедших за город для карантинной службы и с ними выступить на усмирение, но известия об исходе отдельных случаев сопротивления толпе, принесенные немногими оставшимися на службе чиновниками, были таковы, что генерал отказался от этого проекта.

И вот, ему ничего не оставалось, кроме отчаянной, бесильной злобы.

Через окна его роскошного кабинета было видно зарево пожаров, доносились заглушенные расстоянием звуки выстрелов, слышался то стихающий, то возрастающий рев толпы.

Он бросался на диван, лицом вниз, чтобы не видеть зарева, зажимал уши ладонями, чтобы ничего не слышать, но не мог долго выдержать неподвижности и через минуту снова бежал к окну.

А между тем, каждые полчаса в комнату входил чиновник, докладывавший о ходе беспорядков.

По растерянным, вдруг лишившимся лоска и почтительности жестам этого человека, губернатор яснее всего видел безнадежность положения.

Впрочем, и вести были одна ужаснее другой.

Погромы вспыхивали повсюду.

Народ все преодолевал, все мял, все уничтожал на своем пути.

Едва-едва удалось организовать охрану для Кремлевского дворца и важнейших из общественных учреждений, но телефонное сообщение было прервано, так что нельзя было получить от этой охраны никаких известий.

Ужаснее всего была неизвестность — на что способна разъяренная толпа.

Обратит ли она в пепел весь город или ограничится отдельными погромами?

По временам генерал порывался выйти из дворца и в одиночку пойти против погромщиков, чтобы по крайней

мере погибнуть с честью.

Он был родом из прибалтийских баронов и в душе у него, как наследие предков-рыцарей, была струнка чести и отваги, которой очень улыбался этот проект.

Но апатия, унаследованная от длинного ряда предков-чиновников и придворных, спасла генерала.

Порывы его быстро сменились полным упадком сил. Он уселся в кресло против письменного стола, опустил голову на грудь и так просидел несколько часов, отвечая лишь пожатием плеч на новые доклады.

Было далеко за полночь, когда дежурный чиновник вошел в комнату еще более бледный, чем раньше.

Едва произнося слова своими трясущимися губами, он сообщил, что генерал-губернаторский дом в опасности, так как огромная толпа народа только что кончила разбивать Охотный ряд и двинулась вверх по Тверской.

— Какие-то агитаторы, — добавил чиновник, — побуждают толпу найти и освободить Ризова. Хотя Ризов, по-видимому, бежал, я боюсь как бы они не пришли искать его здесь.

Генерал опять пожал плечами, ничего не отвечая. Он не проявил признаков беспокойства, но позволил себя увести в безопасное убежище.

Переступая через порог своего дворца, он первый раз в течение нескольких часов нарушил молчание, обратившись к двум солдатам, стоявшим на часах около подъезда.

— Видите, братцы, до чего дошло дело! Наши же, русские, святую Москву разоряют!

На глазах генерала блеснули слезы. Солдаты глядели на него, выпучив глаза, и ни одним движением не проявили, что понимают о чем идет речь. Они уже третью ночь были в карауле и головы у них мутились от усталости.

Остаток ночи генерал провел в одном частном доме на Большой Никитской. Там же, наутро, собрался совет высших представителей администрации. Нужно, впрочем, заметить, что состав этого совета был далеко не полон. Одних не хватало, потому что уже в начале эпидемии они уехали под разными предлогами из города, других не было, пото-

му что, напуганные событиями ночи, они боялись выйти на улицу.

Несколько человек умерло от чумы, а двое высших чинов полиции погибли накануне при попытке образумить толпу.

Но и немногие собравшиеся больше молчали да охали, чем говорили.

Впрочем, о чем было говорить? Положение не требовало комментариев.

В распоряжении властей находилось известное количество войск, но они несли карантинную службу и оторвать их не представлялось возможным.

— Наш первый долг перед родиною, — сказал один из присутствующих, — заключается в том, чтобы не дать эпидемии распространиться.

Лучше стереть город с лица земли, нежели выпустить из него хоть одного зачумленного и подвергнуть опасности всю империю.

Это энергично высказанное мнение разделялось большинством членов совещания. Меньшинство, во главе с генерал-губернатором, протестовало в принципе против возможности терпеть анархию, но и они не могли указать средств восстановить порядок.

Поэтому окончательное решение было такое: со всею строгостью сохранять карантин, отделить, сколько окажется возможным, войск для охраны правительственных учреждений, а остальное предоставить воле Божией.

Каждый раз, когда я думаю об этом совещании, мне приходит в голову его поразительная аналогичность с историческим военным советом в Филях.

Как тогда, так и теперь решено было отступить, представляя Москву врагам.

Только тогда наступал Наполеон с французами, а теперь Хребтов с чумою.

Таким образом, город оказался во власти двух ужасных чудовищ — заразы и анархии.

Какое же из них оказалось ужаснее?

О, конечно, чума.

Анархия, проявившаяся в первую ночь таким страшным образом, на другой же день приобрела иную форму.

При дневном свете, избавившись от кровавого гипноза, толпа снова обрела свои человеческие черты.

Одним погромы припоминались, как тяжелый сон и они чувствовали себя подавленными, разбитыми, как с похмелья.

Другие испытывали муки раскаяния, недоумевали, как они могли совершить что-нибудь подобное и, стыдясь глядеть на людей, прятались в темные углы.

Третьи, хотя были далеки от раскаяния, но боялись возмездия, поэтому спешили скрыться сами и скрыть награбленное добро.

Толпа поредела, рассыпалась, перестала представлять собою ту страшную, стихийную силу, которая до этих пор висела над городом.

Прежде людей гнало одних к другим стадное чувство, боязнь умереть в одиночестве.

Теперь явилось нечто отталкивающее одних от других — память о совершенных преступлениях.

Массовые погромы больше не повторялись. Они сменились отдельными случаями убийств, насилий и грабежей, в которых освобожденные из тюрем каторжники, несомненно, играли крупную роль.

А чума, между тем, пировала на свободе.

Никогда еще ярость эпидемии не достигала таких страшных размеров. Говорят, что в Средние века чума уносила до $\frac{1}{4}$ части всех обитателей той местности, где появлялась; для Москвы такая цифра показалась бы очень скромной.

Толпы народа, с тех пор как собрались, в полном смысле слова устилали мостовую своими трупами.

Мы знаем, например, что излюбленные ими места вроде Никитской, Тверского и Зубовского бульваров были потом совершенно покинуты, потому что воздух сделался невыносимым от смрада гниющих тел.

Да и в других улицах всюду можно было встретить трупы. Никто их не убирал. Покойники лежали там, где корчились перед этим в предсмертной агонии.

В отдельных домах и квартирах было то же самое. Как люди ни запирались, ни прятались, чума проникала в запертые дома, заглядывала в темные углы, всюду оставляя груды трупов, как знак своего господства.

Многие семейные люди оставались без погребения в своих постелях, между тем как все домашние бежали от них, боясь заразы.

Чума и ужас, каким от нее веяло, были сильнее любви, дружбы, родственной привязанности.

Конечно, были случаи, что здоровые ухаживали до конца за близкими больными, что нарочно старались от них заразиться, желая вместе умереть, но лишь как исключение.

В большинстве же случаев, заболевший бывал обречен на полное одиночество.

Отцы, среди агонии, понапрасну звали детей. Прекрасные, обожаемые женщины задаром в последний час призывали возлюбленных.

В этом отношении все были равны перед лицом чумы; богатые и бедные, знаменитые и неизвестные, красавцы и уроды, графы и чернорабочие.

Чума была настоящею демократкой. Ее уродливый призрак так же часто появлялся на грязном фоне ночлежного дома, как и среди роскошной, созданной для счастья обстановки земных богов.

Только в последнем случае картина была особенно трагичною, контраст между жизнью и смертью сильнее резал глаза.

Мне вспоминается рассказ одного из очевидцев эпидемии, счастливо ее переживших.

Когда чума уже кончалась, но город еще не наполнился жителями, он часто ходил осматривать опустевшие, вымершие дома, где можно было видеть поистине потрясающие картины.

«Однажды, — говорил он, — я попал в роскошно обставленную квартиру. Вероятно, здесь жила очень богатая и изящная женщина, потому что убранство комнат говорило об изысканном вкусе и безумных тратах.

Вероятно также, она была красива; иначе ее гнездыш-

ко не имело бы такого блестящего, жизнерадостного вида.

Я долго ходил по комнатам, рассматривая все вещи, словно в музее. Посидел на креслах будуара, форма которых имела в себе скрытое сладострастие, потрогал изящные фарфоровые статуэтки на камине и любовался прелестными картинами, изображавшими красивое белое тело и цветы.

Потом прошел через уютную столовую, через комнату вроде кабинета, где на столике, маленьком, как игрушка, красовалась чернильница, такая крошечная, что ее содержимого хватило бы разве на одну любовную записочку.

Наконец попал в уборную и здесь сильнее, чем где-либо, почувствовал атмосферу утонченной плотской жизни, атмосферу доведенной до идеала животности, чувственности, какую дышала вся квартира.

Мраморная ванна, стены, выложенные фарфоровыми плитками, зеркала, тысяча баночек на огромном туалетном столе со стеклянной доскою, запах духов, до сих пор пропитывающих воздух, все говорило про ту бьющую через край роскошь, про которую приходится читать в великосветских романах.

На стене висела огромная фотография, изображавшая прелестную обнаженную женщину.

Вероятно, это была хозяйка квартиры, то существо, которое царило здесь среди утонченной, благоухающей атмосферы, чье розовое тело, погружаясь в эту ванну, выплескивало на пол прозрачные блестящие струи воды, та, которую умащивала всеми этими косметиками раболепная горничная перед зеркалом этого туалета.

Спокойно и гордо смотрело на меня с портрета прекрасное лицо. Ни одна тень не выдавала, что она стыдится своей наготы. Наоборот, в линии губ было что-то насмешливое, вызывающее, надменное.

И, оглянувшись кругом, я понял причину этого выражения.

Да, среди этой роскоши, среди тысячи забот о своем теле, среди рабского поклонения, вызываемого такою красотой, эта женщина могла считать себя больше, чем чело-

веком.

А ведь только людям свойственно стыдиться.

Невольно отдавшись думам об этой обаятельной красавице, образ которой так и стоял у меня перед глазами, я толкнул дверь и прошел в следующую комнату, оказавшуюся спальней.

Здесь все было обито белым атласом и носило еще более жилой вид, чем в предыдущих комнатах.

Через ручку кресла перекинулся кружевной пеньюар, на ковер были брошены маленькие, изящные ботинки, еще сохранявшие формы ноги.

Шторы закрывали окна, будто для того, чтобы свет не резал нежных глаз.

Поддаваясь иллюзии, я обернулся к постели, словно надеясь увидеть хозяйку, и не мог удержать крика ужаса и отворачивания.

Белое атласное одеяло, затканное розовыми цветами, еще не потеряло форм грациозной фигуры, лежавшей, согнувши ноги; посреди кружевной подушки, окруженная волнами роскошных каштановых волос, красовалась отвратительная, полусгнившая голова трупа.

Провалившиеся глаза были огромны, пристальны и вдумчивы. Зубы оскалились под отгнившими губами, а на лбу, несмотря на потемневшую кожу, можно было заметить кровавые пятна — печать чумы.

Получереп-полулицо было повернуто ко мне. Из-под одеяла выставилась рука, такая же отвратительная, полуразвалившаяся, как и все остальное.

Вы знаете, — закончил он свой рассказ, — я выдержал в Москве всю эпидемию, но никогда не был так близок к сумасшествию, как в этот момент.

Никогда еще предо мною не вставала с такою яркостью картина победы смерти над жизнью, уродства над красотой, ужаса над радостью».

Он замолчал и поник головою. Я тоже ничего не говорил; перед моими глазами носилось лицо Хребтова, отвратительное, злобное, хохочущее.

Да, этот демон сдержал свое обещание. Он надругался

над счастьем, растоптал ногами веселье, убил любовь, запятнал красоту.

Но, сколько я ни говорю, картина чумы все еще не полна. Чтобы изобразить ее, приходится без конца нагромождать ужасы на ужасы. Наш язык, приспособленный для выражения обыденных вещей, кажется слишком бледным для описания картины эпидемии. Тут были бы уместны страшные, грозные слова Апокалипсиса — действующие на душу помимо сознания.

Болезнью, голодом и анархией еще не исчерпывались бедствия многострадального города.

К эпидемии чумы, как ее логическое последствие, присоединилась эпидемия умопомешательства.

Если в предыдущий период над городом царствовал ужас, то теперь начало царствовать безумие.

Человеческие нервы достигли предела страдания и не выдержали его.

Страх перед смертью, горе о погибших близких, ужас, возбуждаемый насилиями, все это меняло человеческую психику, заставляло людей думать, чувствовать и поступать иначе, чем всегда.

Все вековые мерки возможного, невозможного, хорошего и дурного полетели к черту в эту страшную пору. Весь мир представился в новом свете. Тайны жизни приблизились, сделались более роковыми и более понятными.

Только люди с железными нервами могли выдержать безнаказанно подобную ломку. А много ли таких людей найдется среди толпы современной интеллигенции?

Все неврастеники, истерики, маниаки всякого рода, алкоголики, дегенераты, словом, все скрытые сумасшедшие, которых мы в повседневной жизни считаем здоровыми, не выдержали и заболели психически; одни раньше, другие позже, одни в одной форме, другие в другой.

Были люди, считавшие себя зачумленными, хотя на самом деле находились в добром здоровье.

По Тверской долгое время ходил какой-то человек, упрасивавший всех встречных похоронить его, потому что он умер от чумы. Это обстоятельство породило легенду о мерт-

вещах, разносящих по городу заразу, легенду, стоившую жизни нескольким несчастным, по ошибке принятым толпою за ходячих мертвецов.

Были сумасшедшие, которые повсюду разыскивали своих умерших, давно похороненных детей.

Их вид, их жалобы могли бы вызвать у встречных страшное потрясение, но в эту пору чувствительность у всех так притупилась, что сумасшедших или спокойно обходили, или даже издевались над ними.

Были меланхолики, были буйные.

Были такие, которые безвыходно пребывали в церквях, молясь, кладя поклоны, всплескивая руками и богохульствуя.

Были такие, которые в припадках панического страха забегали на чердаки или в подвалы и там умирали с голода, потому что боялись выйти.

Весь город обратился в сплошной сумасшедший дом.

Кроме отдельных случаев помешательства, были помешательства коллективные.

Мы знаем, например, что толпа людей, которая в конце эпидемии ходила из церкви в церковь, занимаясь возмутительными надругательствами над святынями, состояла сплошь из сумасшедших.

Некоторые из них до сих пор еще живут в больнице для душевнобольных. Чума пощадила их, но из когтей безумия они не вырвутся до конца жизни.

Чтобы дополнить эту картину, я закончу короткими, но многозначительными словами одного очевидца.

«Москва находилась в состоянии агонии. Она напоминала город опустевший, покинутый жителями, в который выпустили толпу безумцев.

Идя среди мертвых домов с закрытыми окнами, запертыми дверями, вы на каждом шагу встречали труп или слышали бормотанье, стон и дикие крики сумасшедшего».

VIII

До сих пор я говорил о проявлении животных инстинктов, о темных силах природы, о помутившихся со страха умах.

А человеческий дух? Разве он мог дремать в минуты такого напряжения? Что сделал он — наше единственное сокровище, наша гордость, наша надежда?

Нужно признать, что он оказался на высоте своего призвания и в эту безумную пору дал примеры своих крайних проявлений как в добре, так и в зле.

Среди московской интеллигенции, главным образом среди молодежи, нашлось немало людей, душевные силы которых оказывались тем большими, чем отчаяннее становилось положение вещей.

На каждый новый ужас эпидемии они отвечали новым подвигом человеческого сердца.

Ничто не могло их испугать или оттолкнуть. Угрозы чумы опьяняли их, как опасность на поле сражения, давали силы и мужество в трудном деле помощи больным и борьбы с эпидемией.

Уже с самого начала они соединили свои отдельные усилия в одну общую организацию, носившую простое и трогательное название «Братство», и до конца чумы братство продолжало существовать, оказывая огромные услуги несчастному населению истерзанного города.

С утра до вечера, с вечера до утра, в дурную погоду и в хорошую, мужчины, юноши, девушки и женщины работали, не покладая рук, во имя идеи человечности.

Единственным побуждением к работе была их внутренняя душевная потребность. Ни самолюбие, ни расчет не играли здесь роли.

Какая благодарность могла их встретить? Бессвязные благословения умирающего зачумленного или холодная похвала людей, которые, ценя их работу, сами не имели мужества принять в ней участие.

Зато препятствий на их пути было множество. Прихо-

дилось сражаться и с косностью, и с скупостью и с черствостью.

Мало того, часто нужно было бороться еще с активным противодействием темных масс, не понимавших их деятельности.

Правда, впоследствии москвичи воздвигнули великолепный памятник в честь братства, но конечно, не эта гора бронзы и мрамора, к слову сказать, крайне безвкусная, служит вознаграждением заслуг ряда людей, из которых каждый отдал свою жизнь, свое счастье, свои заветные планы и мечты в жертву страдающему человечеству.

Имена многих из них даже неизвестны. В том-то и проявилось величие избранных душ, что они думали о деле и больше ни о чем, меньше же всего о благодарности потомства.

Мы не знаем, например, имени того студента, который собственными силами, как это точно установлено, похоронил около ста мертвецов и продезинфицировал несколько десятков квартир.

Он погиб, и неизвестно, нашелся ли желающий в свою очередь оказать ему последнюю услугу.

Мы не знаем, как назывался тот священник, который с утра до вечера ходил по улицам со святыми дарами, напутствуя умирающих.

Неизвестно даже, какой он был внешности, хотя вскоре после чумы легенда о нем побудила Малявина написать свою знаменитую картину «Исповедник зачумленных», а молодой поэт Волков сделал себе имя и состояние поэмою того же заглавия.

Мы не знаем, кто была та девушка, судя по рассказам, прекрасная, как день, которая в маленькой тележке развозила пищу и лекарства по всему городу, не зная отдыха, не боясь смерти, заходя в самые ужасные, отравленные трущобы.

Мы не знаем, кто она была, потому что в один несчастный день десяток бродяг убил ее, заподозривши, что она возит не лекарства, а отраву.

Неизвестно даже, где находятся ее святые останки. Воз-

можно, что они сделались посмешищем, что над ними надругались пьяные скоты, сами не знавшие что творят.

Мы не знаем имен всех тех людей, которые приносили свое последнее достояние, чтобы снабдить братство необходимыми средствами.

Можно только сказать, что их было множество, потому что богачи к братству не принадлежали, а между тем, капитал был собран огромный.

Кто же были они, пожертвовавшие в эту критическую минуту всем для темных, буйных, ожесточенных братьев?

Не знаем.

Памятник на Лубянской площади, вот все, что осталось от их порывов, от трепета их сердец, от их героизма.

На лицевой стороне этого памятника, обрамленный искрящимся белым мрамором, находится барельеф из темной бронзы, представляющий мужчину в расцвете сил, который спокойно, почти весело прощается с плачущею молодой женщиной.

Этот мужчина — петербургский доктор Марцинкевич. Его история тоже заслуживает, чтобы из нее сделали поэму.

Он женился на нежно любимой девушке и свадьба была за две недели до начала эпидемии. Как счастливый золотой сон, промелькнули эти две недели, а потом стали появляться известия об ужасах чумы в Москве, отравившие покой молодого доктора.

Другой на его месте ограничился бы несколькими словами сожаления, сидя в безопасности у себя в Петербурге, но Марцинкевича делала несчастным мысль о городе, где проклятая болезнь свирепствует, душит людей, а рук для борьбы с нею не хватает.

Ни любовь, ни семейные радости не могли заглушить в нем возмущение против бесполезной, бессмысленной жестокости природы, против ее надругательства над человеческою жизнью.

После нескольких тяжелых дней и бессонных ночей, посвященных таким мыслям, он осознал, что почувствует себя сносно только там, в Москве, когда будет в состоянии хоть как-нибудь бороться против чумы.

И вот он поехал в Москву. Неизвестно, как ему удалось примирить жену с этой поездкою. Неизвестно, провожала ли она его твердо и героически, подобно древней римлянке или, наоборот, отдалась приступу горя с бесконечным эгоизмом влюбленной женщины.

Известно только, что, запасшись специальным разрешением, он проник сквозь железное кольцо карантина, окружавшее Москву, и больше не вернулся.

Чума поглотила его, как и многих других отважных бойцов, выступавших против нее.

Множество членов братства гибло от болезни, так как они не имели возможности оберегать себя от заражения, но оставшиеся в живых сдвигали ряды и продолжали работу павших.

Очевидцы описывают их нам, как фанатиков, как людей, до сумасшествия преданных своей идее, как худых и бледных мучеников с горящими глазами, способных бесконечно долго не спать, не есть и работать со всею силою энергии, поддерживаемой внутренним огнем.

Подобных типов не встречается в обыденной жизни. Они рождаются в дни бурь и еще накануне перерождения, никто не сумел бы отличить их от обычных, скучных, мелочных, серых людей.

Война, революция, эпидемия и другие народные бедствия имеют своеобразную, стихийную прелесть именно потому, что вызывают к жизни спящие силы человеческой индивидуальности.

Но вместе с добром просыпается в таких случаях и зло.

Вместе с героическими добродетелями, выплывают на свет всевозможные пороки.

Последних даже больше, чем первых. Если сотни людей, оторванных чумою от привычной жизни, бросились с головою в деятельность братства, то целые тысячи начали осуществлять противоположную крайность, с не меньшим увлечением предавшись пороку.

Вечная угроза смерти обострила и раздражила в людях все плотские, животные инстинкты.

Тот, кто не надеется пережить завтрашний день, конеч-

но, не станет стесняться из-за какого-нибудь расчета, во имя общественного мнения, из-за служебной карьеры, из-за домашнего очага или даже в видах сохранения здоровья.

Все страсти, похоти, аппетиты и страстишки, до сих пор подавленные, скрытые от людских глаз, вдруг появились на свет божий и стали царствовать с необычайной властью.

Чума сорвала маски с тысяч так называемых «приличных», «порядочных» людей и, Боже мой, сколько всякой гадости оказалось под этими масками.

Насколько одни были велики в своих благородных стремлениях, настолько же другие были мелки, животны, грязны в своем стремлении использовать плотские наслаждения, которым придавала особую остроту близость смерти.

Смерть была пикантной примесью к наслаждениям, она опьяняла, приводила в неистовство массу людей, переходивших от страха и апатии к неудержимому желанию чувствовать жизнь возможно сильнее, жить несколькими жизнями сразу, чтобы прогнать холод призрака, царящего над воображением.

Действительный статский советник, сорок лет гордо выпрямлявший голову над украшенной орденами шеей, говоривший о добродетели, указывая пальцем на свою грудь, как будто именно там добродетель и помещалась, вдруг превратился в сластолюбивого, слюнявого старикашку с красною, потною рожею и трясущимися руками.

Он ловил во всех углах пятнадцатилетнюю кухаркину дочку и пытался овладеть ею, возбужденно бормоча:

— Ну чего же, глупая, сопротивляешься? Все равно ведь скоро умрем. Ну, Настюшечка!

Другой человек, который уже много лет гордо жил духовными идеалами, который громко проповедовал возвышенные цели человеческой жизни, который отличался суровостью, воздержанностью и тем снискал себе славу существа, убившего в себе все животное, теперь день и ночь валялся по улицам, мертвецки пьяный, с бессмысленным лицом, в перепачканной, одежде.

Язык высокого моралиста, так трогательно говорившего о правде и добре, о духовной красоте, теперь произно-

сил только площадные ругательства, а из его оловянных остановившихся глаз глядел на Божий свет первородный зверь, который так долго был подавлен, а теперь восторжествовал.

Еще более грязные, еще более отвратительные сцены встречались на каждом шагу.

Начальница института, пожилая женщина, которая воспитывала в чистоте и целомудрии многие поколения девушек, вдруг превратилась в Мессалину, ищущую любовных приключений на улицах.

Отец, примерный семьянин, покушается на честь дочери. Гордая, неприступная женщина, у ног которой задаром лежала вся золотая молодежь Москвы, бросается на шею своему выездному лакею.

Но во зле, как и в добре, есть свои верха и низы, есть сила и слабость, есть герои и посредственности.

В то время, как слабые люди потихоньку развратничали, убежав от стеснительной морали, но не победив ее, более сильные и смелые выступали против этики совершенно открыто, объявляли нравственный закон низложенным, возводили погоню за наслаждениями в философски обоснованный культ, сохраняли даже в разврате логику и последовательность.

Они являлись как бы противоположным полюсом по отношению к братству и по-своему тоже боролись с чумою.

Только боролись не путем пресечения болезни, а путем равнодушия к смерти.

Они говорили, что смерть не торжествует победы над тем, кто встречает ее спокойно, с улыбкою на губах, испивши до дна чашу наслаждения.

В их философии было немного эпикурейства, немного ницшеанства, немного Гартмановской ненависти к жизни. Словом, она была собранием всего, что может одновременно оправдать и смерть, и беззастенчивое пользование жизнью.

Впрочем, основой ее, конечно, прежде всего был разнуздавшийся зверь в человеке, так часто говорящий устами философов.

Эти люди, сближенные между собою общими попытками стать выше человеческого страха смерти и выше человеческой этики, получили прозвание «смеющихся» за ту презрительную усмешку, с какою смотрели на все окружающее.

Среди тишины пораженного бедствием города, они устраивали шумные оргии, во время которых все было позволено и считалось шиком перейти все границы приличного, терпимого.

Пользуясь отсутствием полиции, они ходили по улицам веселыми прелестями, в ярких, фантастических костюмах, с музыкою и песнями.

Каждый вечер в различных местах города они устраивали балы, пикники, маскарады.

Все способы развлечения были ими использованы, а извращенная фантазия этих людей заставляла их находить удовольствие в том, что было на самом деле лишь отвратительным.

Так, они любили тешиться всем ужасным, отталкивающим, что встречалось в окружающей обстановке. Они пили тосты за чуму, украшали свои столы черепами, костюмировались так, чтобы походить на покойников.

Один из «смеющихся», бывший художником, оставил нам цикл рисунков углем и мелом, являющихся непосредственным выражением этого настроения, так как были им сделаны для себя, во время промежутков между оргиями, когда нервное возбуждение требовало какого-нибудь исхода.

Этот художник, переживший чуму, но кончивший жизнь в сумасшедшем доме, дал в своих картинах наглядное доказательство того, как далеко может зайти болезнь фантазии, эта проказа человеческого духа.

На его причудливых, отталкивающих картинах мы видим розовых, смеющихся детей в объятиях позеленевших, разлагающихся трупов.

Видим эротические сцены странных чудовищ, похожих на образы, вызываемые лихорадочным бредом.

Видим людей-вампиров, пьющих кровь из обнаженных, живых тел.

Видим отвратительных гадов, сочетающих в себе все, что только знает природа противного, вызывающего омерзение, нарисованными среди золота и драгоценных камней, в облаках фимиама.

Видим одухотворенные дома, смеющиеся над грудями сваленных у их подножия мертвых тел.

Видим, наконец, такие вещи, которые может описывать доктор в ученом трактате, но которые никоим образом не может изложить романист.

По направлению мыслей этого художника мы можем судить о том, чем забавлялись смеющиеся.

Не раз их пьяная ватага, бродя ночью по городу и найдя труп, окружала его, со смехом, шутками и восклицаниями дотрагиваясь до жертвы ужасной болезни, придавая покойнику разные забавные позы.

Они шли в разнузданности так далеко, как только позволяла их изобретательность. Каждый старался перещеголять собутельников, придумывая остроты, развлечения, проказы, посвящая себя этому всецело, пока чума не схватывала его и не душила, после чего остававшиеся в живых справляли по нем поминки шутовскими речами и новыми стаканами вина.

Неудивительно, что простонародье смотрело на этих безумцев как на дьяволов. Есть вещи в народном сознании, которые не искореняются никакими обстоятельствами и к этим вещам принадлежит серьезное, вдумчивое почтение к смерти.

Люди, ругающиеся над покойниками, смеющиеся над общим бедствием, в глазах народа хуже последних разбойников, так что раздражение против «смеющихся» не раз доходило до кровавых расправ.

Ужасный пример этого произошел на Знаменке. Там жил один из самых известных смеющихся, богатый молодой человек из аристократической фамилии.

Однажды вечером он пригласил ряд знакомых к себе на ужин, на один из тех характерных для того времени ужинов, на которых смешивались изысканная эстетика и

грубый животный цинизм, великосветская элегантность и неудержимое, бурное веселье отчаяния.

Праздник удался как нельзя лучше и представлял действительно опьяняющую картину.

Великолепно обставленная комната, стол, покрытый белоснежной скатертью, букеты ярких и нежных цветов, вино, искрящееся в стаканах, черные фраки мужчин, обнаженное тело и роскошные костюмы женщин, блестящие глаза, смелые жесты, хохот, песни, поцелуи...

Казалось, само наслаждение устроило этот праздник, а веселье принимало гостей.

Около полуночи хозяин поднялся с бокалом в руке, чтобы сказать тост.

— Господа! — начал он. — Сегодняшний день мы не потеряли даром, и если смерть стучится к нам в двери....

Он внезапно остановился, побледнев, с ужасом глядя на входную дверь.

Все глаза обратились туда же, и пирующие увидели группу оборванных, грязных, диких на вид людей, входивших в комнату, неся с собою камни и дубины.

Это были фабричные рабочие, рыскавшие по городу в поисках какой-нибудь пищи.

Привлеченные светом и шумом, они долго стояли внизу под окнами, прислушиваясь к тому, как веселятся баре. Каждая шутка, доносившаяся сверху, увеличивала их раздражение, каждый взрыв смеха казался надругательством над общим горем.

Наконец они не выдержали и решили расправиться с пирующими.

В продолжение десяти минут в комнате происходила дикая возня; смех сменился стонами, поцелуи ударами. При ярком, праздничном свете, вокруг роскошно убранного стола, один за другим, почти без сопротивления гибли «смеющиеся».

Огромный, прокопченный насквозь фабричным дымом рабочий схватил за волосы изящную, декольтированную барыню. Она молила, плакала, хотела обнять его ноги, но страшный удар прервал мольбы и стоны. Внезапно успо-

коившись, она рухнула лицом вниз на ковер.

В другом месте полупьяный щеголь в изысканном фраке схватил бутылку, чтобы защищаться, но сейчас же перекувырнулся, потому что ему бросили под ноги стул, и погиб под ударами дубин.

Когда схватка кончилась, все «смеющиеся» лежали на полу мертвыми. Никому не удалось бежать.

Брызги крови алели на белой скатерти, на ярких платьях, на шелковой обивке мебели. Ее острый запах смешивался с ароматом духов и благоуханием начинающих вянуть цветов.

А убийцы, едва покончивши свое дело, с жадностью набросились на остатки ужина. Не обращая внимания на разбросанные трупы, скользя в лужах крови, наступая на раскнутые руки жертв, они ходили по комнате, разыскивая съестное, и торопливо насыщались.

Вина никто из них не тронул. Разговоров между ними не было. Они имели мрачный, но спокойный вид людей, действующих под давлением необходимости.

Кончивши есть, каждый уходил, не оборачиваясь назад. Придя вместе, они уходили поодиночке, чтобы не глядеть друг на друга.

А когда ушел последний, в комнату пробралось несколько уличных мальчишек, издали наблюдавших за побоищем.

Эти вечно живые и вечно веселые существа со свойственной их возрасту восприимчивостью совершенно применились к атмосфере, царящей в зачумленном городе. Среди трупов, среди крови, они чувствовали себя как дома. Ни какой ужас не мог их смутить или испугать.

Теперь, на месте побоища, они забавлялись от души. Рассматривали, переворачивали растерзанные женские трупы, хохотали, свистели, допивали оставшееся в стаканах вино, закуривали разбросанные папиросы.

— Вот здорово залепил-то! — говорил один другому, показывая на человека с раздробленною головой, полулежавшего на диване. — Не иначе, как Сеньки одноглазого работа. Это он так съездил!.

Это было самое крупное избиение «смеющихся», но, кроме него, мы знаем много случаев, когда они гибли поодиночке от руки оскорбленной их поведением толпы.

Может быть, вследствие устрашающего действия этих примеров, а может быть, просто потому, что никакие нервы не могли выдержать жизни, какую вели эти люди, похождения их прекратились задолго до конца эпидемии.

Мало того, я имею положительные основания утверждать, что среди толпы, которая в порыве религиозного экстаза наполняла московские церкви под конец чумы, было много людей, раньше принадлежавших к смеющимся.

IX

Я постарался, насколько мог яснее, представить картину чумы в Москве. Теперь нам нужно вернуться к ее творцу — к слабому, отвратительно уродливому человеку в его домике на Девичьем поле.

От тысячеголовой толпы, от судорог, потрясающих целый город, от призрака смерти, убивающего одним взмахом целые полчища, мы должны перейти к ничтожному существу, похожему на паука, быть может, самому противному и жалкому по внешности из сотен тысяч людей, которых он отравил, обрек на сумасшествие, на ужас и смерть.

Мне самому кажется невероятным контраст между ничтожеством творца и колоссальностью творения, но причинная связь — налицо. Внутренний мир отдельного человека вступил в борьбу с гигантским внешним миром и нанес ему страшную рану.

Становится невыносимо тяжело, когда подумаешь, какую бездну зла скрывает в себе этот маленький внутренний мир человека.

Он точно чумная бацилла, которая так мала, что ее можно заметить только через хороший микроскоп, а между тем, ей нипочем истребить целый народ.

Совершивши посев смерти, Хребтов заперся у себя и

стал ждать результатов.

Ему приходилось бывать каждый день в городе, чтобы поесть, но исполнивши это, он как можно скорее бежал домой и снова запирался.

Ему тяжело было смотреть в лицо людям с тех пор, как он их возненавидел.

Никакой посетитель не нарушал его уединения, потому что у Хребтова не было знакомых. Из университета тоже никто не приходил, так как профессор уже давно послал туда уведомление, что заболел и должен уехать на несколько месяцев.

Полнейшее спокойствие и одиночество были ему обещаны. Тут-то и должны были начаться угрызения совести; однако их не являлось.

В долгие часы, когда он ходил по комнате или задумчиво сидел в кресле, его мысли постоянно возвращались к цепи роковых событий. Но теперь, когда конвульсивный период нравственных страданий прошел, эти события вспоминались, как далекий сон.

Он страдал гораздо меньше, потому что перестал чувствовать с прежнею силою. Его состояние было похоже на состояние человека, только что перенесшего тяжелую болезнь. Мысли работали вяло, все на свете казалось безразличным, бездействие не тяготило его. Он очень много спал.

Совершенное преступление мало заботило Хребтова, потому что было слишком необычайно, слишком чудовищно, чтобы укладываться в воображении.

Логически, профессор знал, что создал народное бедствие, но органически не мог себе этого представить.

Глядя впоследствии на горы трупов, на истерзанный город, он не мог отделаться от представления, что это какая-нибудь высшая, вне-мировая сила, вроде Бога, поразила народ.

Тогда его собственная роль во всем происшедшем уна-малась, сводилась к роли послушного орудия в руках пред-назначения.

Есть, по-видимому, преступления, слишком чудовищные, чтобы вызывать раскаяние. Угрызения совести — дело

инстинкта, инстинкт же отказывается реагировать на явления, выходящие за известные пределы.

Вот почему ощущение причастности ко всему происходящему никогда не покидало Хребтова, стояло всегда рядом с ним, как неотвязный черный призрак, но не принимало формы раскаяния или угрызений совести.

Время после посева чумы и до начала эпидемии прошло у него в каком-то полузабытьи.

Иногда, правда, воспоминание о Надежде Александровне вызывало у него внутреннюю бурю; он стонал, метался, не знал, куда деваться, но эти взрывы скоро проходили, сменяясь прострацией, под влиянием которой Хребтов не двигался, ничего не желал, почти не думал.

Была лишь та особенность в его состоянии, что он никогда не подходил днем к окну, а если слышал шаги и голоса людей, проходивших по улице, то испытывал смутное беспокойство.

О появлении чумы он узнал из газет.

Первое его впечатление при этом была известная авторская гордость, как будто один из задуманных им бактериологических опытов блестяще удался.

Таково было первое впечатление; но немного позднее, сидя в своем любимом кресле и снова прочитывая сообщение «Вечерней почты», он постепенно представил себе то, что должно произойти.

Горе и страдания, опустошенный город, смерть, смерть на каждом шагу, и каждый человек, который умрет, будет убит им, Хребтовым.

Колоссальный ужас потряс его душу.

Вся огромность совершенного преступления готова была стать пред ним яркой, наглядною картиной.

Как тогда, после отказа Надежды Александровны, у него опять проснулось непреодолимое желание куда-нибудь бежать, забиться, спрятаться, защититься от всего света, от самого себя, от своих мыслей и ощущений.

Страшные угрызения надвигались на него из строк газетного листа.

Поддайся он им, ему оставалось бы, как Иуде, покон-

чить жизнь самоубийством, не насладившись плодами преступления.

Но дисциплина ума спасла профессора Хребтова.

Он заставил себя прекратить опасную работу воображения и, бессознательно ища в страстях спасения от упреков совести, стал разжигать чувство горечи, обиды, злобы, перебирать длинную цепь оскорблений, нанесенных ему в течение всей жизни родом человеческим.

Когда же щеки его запылали от горечи прошлых обид, когда душа наполнилась тоскою по утраченным мечтам о счастье, он сделался прежним Хребтовым, смотревшим на весь мир, как на одно враждебное ему существо, и поэтому неспособным тронуться встающими пред ним картинами людских мук.

Так справился он с собою в самый критический момент, а в дальнейшем жгучий интерес к быстро развивающимся событиям всецело поглотил его внимание.

Побуждаемый дьявольским любопытством, он ежедневно перечитывал все, что писалось об эпидемии в газетах, мысленно прикидывая, насколько уменьшает полиция число заболеваний, стараясь угадать, сколько случаев не было зарегистрировано по той причине, что родственники скрывали больных.

Ходя по улицам, Хребтов приглядывался ко всему окружающему, пытаясь заметить признаки болезни. Когда эпидемия достигла полного развития и на каждом шагу можно было встретить какое-нибудь проявление торжествующей чумы, он начал проводить целые дни в городе.

Под влиянием полученных за это время впечатлений у него, как у человека чуждого общему настроению, ибо он мог не бояться болезни, развилось глубокое отвращение к роду человеческому.

Прежде он его ненавидел, теперь стал презирать.

Он видел, как совершаются убийства из-за куска черного хлеба. Видел, как поджигаются дома только из удовольствия поджечь.

Он видел, как родные покидали друг друга, как друзья теряли дружбу, лишь показывалась опасность, и радовал-

ся, что никто не избежит возмездия, что чума отомстит всем и за все.

Он видел людей, предающихся разврату с таким самопожертвованием, будто в нем заключалась высшая цель человечества.

Видел человеческую натуру без маски, без всяких прикрас и решил, что поступил очень хорошо, посеявши смерть.

Пусть мрет это кроважадное, развращенное, эгоистическое племя. Чем меньше его останется на свете — тем лучше.

Он присутствовал при погромах, и эта картина окончательно оправдала его перед самим собою.

Наблюдая деятельность «Братства», он только смеялся. Слабые попытки добра были такими ничтожными по сравнению с ураганом зла!

Кроме того, ему было ясно, что никакие человеческие усилия не остановят деятельности его усовершенствованных бактерий.

Сделать это мог только он, Хребтов, при помощи своей сыворотки.

Но он был далек от мысли сделать это.

Он ходил по городу, собирал те взгляды ненависти, ужаса, удивления и отвращения, вызываемые его уродством, которых прежде так боялся.

Теперь каждый из них был ему дорог, потому что увеличивал сладость мщения.

Только один квартал Хребтов всегда обходил в своих странствованиях, зная по опыту, что приближение к нему вызывает в душе смутные и мучительные ощущения такого рода, что в них лучше не разбираться.

Тот квартал, где жила Надежда Александровна.

Рано утром, уходя из дома, и поздно вечером, возвращаясь домой, профессор каждый раз делал большой обход по переулкам, чтобы не пройти поблизости ее дома.

Так же старался он избегать и мыслей о Крестовской, но это было труднее.

Помимо воли, перед ним часто вставал вопрос:

«А что, если и она умрет?»

И он не знал, сумеет ли радоваться этому или, по крайней мере, остаться спокойным.

Ему хотелось убедить себя, что смерть Надежды Александровны только завершит мщение, но в глубине души появлялось сознание, что известие о ее болезни или смерти, пожалуй, заставит его страдать хуже, чем когда-либо.

Пока же неизвестность защищала его от этого. Он дорожил неизвестностью и старался избегать тех мест, где случайно мог узнать что-нибудь.

Однажды, в самый разгар эпидемии и связанных с нею безумств, Хребтов, возвращаясь вечером домой, нашел около двери посетителя, сидевшего на полу, скорчившись, обняв колени руками.

Поза у него была такая беспомощная, покорная, будто он ждал здесь уже много часов и решил, не сходя с места, дожидаться или умереть.

Заметив этого человека, Хребтов в первую минуту испугался.

Как он ни был уверен в том, что тайна его преступления никогда не откроется, все-таки мысль о возможности возмездия иногда мелькала у него, наполняя душу холодом и вызывая нервную пугливость.

Однако, когда посетитель встал, страх исчез сам собою. Этот несчастный выпрямился с таким очевидным трудом, вид имел настолько подавленный, что бояться его не было никакой возможности.

Наоборот, внешность его вызвала бы во всяком сожаление. Вглядевшись пристальнее, Хребтов узнал в нем одного из лаборантов, помогавших при работах над чумными бактериями.

Но во что обратился этот бедняга!

Высохший, истощенный, с выражением окаменевшего страха на лице, с помутившимися, блуждающими глазами, он, очевидно, принадлежал к числу тех маниаков, созданных ужасом чумы, которые ничего не ели, боясь заразиться, которые не спали, мучимые постоянной тревогой, которых солдаты карантинной стражи по временам подстреливали, как зайцев, во время безумных попыток, несмотря ни

на что, бежать из зачумленного города.

Не здороваясь, не вступая в разговор, лаборант прямо упал на колени, с мольбою протягивая руки.

Профессор хотел поднять его, но это оказалось невозможным. Тогда, чтобы избежать странной сцены на улице, он открыл свою дверь и вошел. Лаборант последовал за ним, объясняя на ходу цель своего прихода.

Голос его звучал бесконечным отчаянием. Каждая нотка была воплем страха и тоски.

— Профессор, спасите, спасите, умоляю вас! Она здесь, во мне, я ее чувствую. Скоро уже появятся первые симптомы. Только вы можете спасти меня.

Теперь они стояли в лаборатории, наполненной тусклым светом вечера, глядевшего в запыленные окна.

Профессор уже догадывался, зачем пришел лаборант, но все-таки спросил его:

— Что же я могу для вас сделать?

— Вы?.. Да вы можете меня вылечить, спасти, избавить от возможности заражения в дальнейшем. Ведь не может же быть, чтобы у вас не было средства против чумы. Дайте, дайте мне его. Сделайте мне прививку. Я уже давно, по ходу работ, догадался, что вы нашли сыворотку. Привейте ее мне, только мне, ради самого Бога! Никто не узнает об этом. Я никому не скажу.

Страшно было смотреть на этого человека, худоба и бледность которого делали его похожим в полутьме на ходячий призрак горя и ужаса.

У Хребтова мелькнуло сожаление к несчастному; ведь сыворотка, оставшаяся от опытов, находится здесь, под рукою. Можно, наконец, выпрыснуть простую воду, лишь бы избавить его от нравственной пытки.

Но уже в следующий момент профессор испугался своего малодушия. Холодная логика говорила совсем иначе. Разве можно верить тайну этому ничтожному человеку? Стоит ему проговориться, и весь мир узнает, что Хребтов имел в руках верное средство против болезни и не воспользовался им.

Отсюда всего один шаг до догадки, что это он нарочно

создал эпидемию.

При такой мысли, мороз пробежал по коже профессора. Ему уже представилось, как буйная, зверская толпа осаждает его дом, требует его на расправу, как в воздухе стоит рев угроз, перемешанных с повторениями его имени.

И ответ его прозвучал всей энергией, с какою он отгонял от себя эту картину:

— Нет, вы ошибаетесь. У меня нет никакой сыворотки. Я так же бессилен, как и все.

Но не так-то легко было отделаться от сумасшедшего. Он не поверил словам Хребтова и, несмотря на них, принялся умолять еще горячее, еще бессвязнее.

— Профессор, профессор, я же знаю, что вы не могли не открыть сыворотки. Разве есть для вас неразрешимые задачи?! Профессор, сделайте прививку мне, одному мне; я буду вашим рабом на всю жизнь. Профессор, у меня мать-старуха, ей придется умереть с голоду, если я погибну. Профессор, вспомните о своей матери!

— Я ничего не могу сделать, — отозвался Хребтов.

Тогда лаборант начал всхлипывать и упал на колени. Он заявил, что не уйдет отсюда без прививки, что ему все равно умирать, что убийцей его будет Хребтов, что на голову Хребтова падет ответственность за его гибель.

Образумить его было невозможно. В ответ на уверения профессора, что тот бессилен, он ползал по полу и целовал его ноги.

Он был бесконечно жалок, но в то же время ужасен и отвратителен со своими всхлипываниями, напоминающими мычание животного, с бесконечным повторением слова «профессор», со сменой униженной мольбы угрозами и угроз мольбами.

Терпение Хребтова стало истощаться. Ему пришла в голову мысль, что совершенно так же выглядел он сам два месяца тому назад, ползая на коленях перед Надеждой Александровной.

Такое сравнение действовало на него, как удар хлыста. Он выпрямился, полный яростью, готовый вымещать ее на всех и на всем.

— Отстаньте от меня! — грубо крикнул он лаборанту. — Там, кругом, мрут тысячи, а вы хлопчете о том, чтобы уцелеть одному между ними. Чем вы лучше других? Ступайте к ним, оставьте меня в покое!

Но даже этот окрик не образумил несчастного. Он только обхватил колени профессора и припал к ним с немой, судорожной мольбой.

Это было слишком. Хребтов сделал резкое движение, чтобы вырваться, но не рассчитал, что имеет дело с человеком, едва живым от голода и нравственных страданий. При первом же толчке лаборант потерял равновесие и опрокинулся плашмя на грязный пол.

Минуту он лежал неподвижно, как бы лишившись сознания, потом медленно поднялся и отошел на несколько шагов.

Когда он повернулся к профессору, на лице его, еще мокрым от слез, горела злоба.

— Убийца! — проговорил он тихо, словно отпечатывая каждое слово. — Убийца, недаром ты и на человека-то не похож. Ты — зверь, тебе нипочем, что люди кругом умирают; ты смотришь себе да посмеиваешься. Зверюга!

И затем подскочил совсем близко, осыпая Хребтова руганью, настолько же яростной, насколько униженна была перед этим его мольба.

— Гадина, выродок, ты не зверь, ты дьявол. Это видно по твоему лицу. Ты гнусный дьявол!

Не находя больше слов, он замолчал, словно подавился своим гневом, потом сделал еще шаг вперед и плюнул профессору в лицо.

После этого, как всегда бывает после неожиданных и безобразных поступков, наступила минута растерянного молчания.

В тишине и темноте лаборатории, почти рядом, кипели две злобы полусумасшедших людей.

Хребтов был парализован, оглушен тем, что произошло. Он мог бы легко задушить обидчика, но это не пришлось ему в голову.

Он даже не погнался за ним, когда тот вышел. Нена-

видя все человечество целиком, профессор стоял выше счетов с отдельным человеком.

И это оскорбление, которое он только что получил, казалось ему не делом жалкого сумасшедшего лаборанта, а делом того человечества, которое преследовало и оскорбляло его в течение всей жизни.

Выйдя из неподвижности, Хребтов приблизился к окну и распахнул его сильным ударом. Там, вдали, лежал темный город. Огней нигде не было видно. Никакого шума не доносилось оттуда.

Москва была похожа на огромный труп, чернеющий в темноте.

Он смотрел с упоением, с гордостью, словно видел перед собою растоптанного врага.

Что значат самые жестокие обиды в сравнении с мстью? Как его назвал лаборант — зверем, дьяволом? Ну что же, вот там, среди темноты, многие тысячи людей корчатся хуже, чем в предсмертной агонии, от ужаса, которому их предал Хребтов.

Ему вспомнилась та ночь, когда у него возникла первая мысль о создании эпидемии. Тогда он так же, как теперь, смотрел из своего окна на город, но город блестел огнями, был оживлен непрерывным гулом жизни. Теперь же он тих, как долина скорби.

И, сопоставляя две различные картины, измеряя в мыслях неизмеримую глубину созданного им несчастья, профессор хрипло засмеялся.

А из города, словно в ответ на его смех, вдруг раздался чей-то отчаянный крик.

Вероятно, кого-нибудь убивали или кто-нибудь умирал, а может быть, это кричал один из бесчисленных сумасшедших, бродивших по Москве.

Как бы то ни было, вопль был до такой степени болезнен, так полон безумного напряжения и отчаяния, что Хребтов не мог его выдержать. Захлопнув окно, убежал в другую комнату и рухнул на постель, зажимая уши руками.

Прошло несколько дней после описанной сцены. Эпидемия не ослабевала. Усовершенствованные бактерии губили

без устали.

Зато у людей не хватало уже больше сил страдать и волноваться с такою мукою, как прежде.

Взрывы отчаяния, пароксизмы бешенства сменились тупою покорностью судьбе.

Толпа, терроризировавшая город, рассеялась, то прячась по темным углам, то переполняя церкви богомольцами.

От братства осталась ничтожная горсть людей, продолжавших бороться против болезни, несмотря на очевидную бесполезность борьбы.

Смеющиеся тоже куда-то исчезли. У тех из них, кого не забрала чума, не было больше сил вести буйную, пьяную жизнь. Их нервы не выдержали постоянной пляски на могилах.

И город замолк, замер, оглашаясь только воплями и бормотанием сумасшедших.

Хребтов продолжал свои скитания по улицам, но уже не из интереса к эпидемии, а потому, что сидеть дома было невозможно.

Он был пресыщен своим мщением. Перед ним все чаще вставал простой, но убийственный вопрос:

Что же будет дальше?

Он справил страшные, сверхчеловеческие поминки по своим мечтам о счастье, но это не вернуло ему душевного равновесия.

Наоборот, тот, кто жил некоторое время такими чудовищными ощущениями, как бы ни были крепки у него перед этим нервы, никогда уже не делается нормальным человеком.

Возврат к прежней жизни был немислим после всего, что отделяло Хребтова от обыденной действительности. Прошлось являлось сплошным напряженным ужасом, а в будущем не было ничего.

Решительно ничего. Абсолютная пустота, которую нечем было заполнить.

Оставался только один исход, зато простой и логичный, — самоубийство.

О нем профессор часто думал, слоняясь по городу.

Думал без волнения, без страха, как о необходимом последствии всего, что было раньше.

Смерть не пугала его, потому что, несмотря на все потрясения последних месяцев, он остался совершенно неверующим, а от суеверия спасал его ясный и твердый ум.

Что касается боли, он мог ее не бояться, имея к своим услугам все средства современной науки, все способы, какими она может заставить человека чувствовать так или иначе, или совсем ничего не чувствовать.

Однажды он шел по пустынной улице, всецело погруженный в мысли о том, когда, где и как следует произвести самоуничтожение. Занятый этим вопросом, он не глядел по сторонам, не обращал внимания на встречающих, пока одна фигура не привлекла его внимание, напомнив что-то знакомое.

Это была пожилая женщина в платке, несшая под мышкою узел.

Профессор остановился. Где он ее видел? Что она ему напоминает?

Ах, да, ведь эта женщина всегда отворяла дверь, когда он приходил к Михайловым!

Та, в свою очередь, узнала его и поклонилась.

Совершенно неожиданно для самого себя, профессор вступил с нею в разговор. Он не мог победить своего желания узнать что-нибудь о Крестовской.

— Ведь вы, кажется, служите у Михайловых? — спросил он. — Ну, как у вас там, все ли здоровы?

На лице женщины промелькнула тень смущения. Она ответила тем преувеличенно-самоуверенным тоном, каким говорят люди, чувствующие за собою вину и стремящиеся доказать, что они правы.

— Я там уж больше не служу. Теперь я сама по себе.

И прежде, чем профессор успел что-нибудь сказать, она добавила:

— Чего я там не видала? Чумы, что ли? Еще моих пять рублей за ними осталось.

Хребтов побледнел. Вон он стоит лицом к лицу с тем, чего до сих пор так боялся.

Сейчас он узнает судьбу Надежды Александровны.

А кухарка продолжала тараторить:

— Как только барышня заболела, так все от нее и разбежались. Сначала сестра ее забрала детей и куда-то уехала. Доктор, тот добрый барин, сперва не хотел оставлять больную одну, все упирался, да потом барыня приехала за ним, поругалась, пошумела, да и забрала его с собою. Мне наказали ходить за Надеждой Александровной, да ведь я что же — не мать ей и не сестра. Мне жизнь тоже дорога, хоть и служу в кухарках. Подождала день, другой, вижу, никто не возвращается, собрала вещи да и ушла. Теперь вот живу, как могу. Еще пять рублей моих за ними осталось!

Хребтов стоял неподвижный и немой, как в столбняке. Улицы и дома неслись у него перед глазами в дьявольской пляске. Земля колебалась под ногами. Голос кухарки то доносился совсем издалека, то звучал гулко и громко над самым ухом.

Больна... покинута... может быть, уже умерла.

У людей со слабо развитым воображением между предположением о возможности какого-нибудь факта и совершившимся фактом лежит безграничная пропасть.

Предположение, что Надежда Александровна может заболеть волновало Хребтова, и только. Известие же о ее болезни поразило его, как громом.

Теперь он не мог бы рассуждать о том, что предпринять, как поступить. Он просто чувствовал, что необходимо ее спасти, спасти во что бы то ни стало, что это важнее всего на свете.

И, оставив кухарку, еще продолжавшую что-то говорить, профессор помчался в лабораторию за противоядием.

Огромными, неуклюжими прыжками несясь он по улице, не смотря по сторонам, не замечая, что встречные с испугом отшатываются при виде его искаженного лица.

Сердце колотилось у него так, что он слышал его удары. В ушах звенело, голова мутилась, но он все-таки ни разу не остановился перевести дух.

Вот, наконец, дверь его дома. Проклятый ключ не влезает в скважину замка. Руки так дрожат, что стоит большо-

го труда отпереть дверь.

Вот и лаборатория. Нужно взять пузырек с первой полки на левой стене.

Комната со знакомой обстановкой, этажерки, заставленные книгами, приборы на столах — все плывет и колыхается вокруг него, словно подернутое туманом. Но нужную банку Хребтов находит сразу. Теперь шприц. Вот и он, в своей никелированной коробке. Теперь скорее к Надежде Александровне.

И он снова мчится по улице.

Уже поднимаясь по лестнице знакомого дома, он вдруг замечает, что все время громко твердит одну фразу:

«Господи Боже, спаси ее. Боже правый, спаси ее!»

Откуда у него взялась молитва? У него, не молившегося столько лет?

Но теперь не время разбираться в этом.

Он уже стоит перед дверью, уже схватился за ручку.

Что это за бумага приклеена к притолоке?

Это какое-то воззвание. Замирая от ужаса, Хребтов читает:

«Добрые люди! Во имя Бога, похороните умершую в этой квартире молодую девушку».

Но это еще не значило, что Крестовская умерла.

В то время подобные записки висели на многих дверях, за которыми боролись с чумою живые люди, покинутые и приговоренные к смерти.

Родственники и друзья, малодушно убегая от заболевших, часто писали подобные записки, чтобы уменьшить угрызения совести надеждою, что кто-нибудь из членов Братства исполнит долг человеколюбия по отношению к покинутому.

Хребтов не раз уже видал такие ярлыки, но этот показался ему кощунственным. Он сорвал его и растоптал ногами.

Потом вошел в квартиру и запер за собою дверь. Если сила желания может сотворить чудо, то профессор в этот момент мог его сотворить. Автор чумы во всеоружии науки шел бороться с чумою. Укротитель шел на опасного зверя,

которого сам выпустил из клетки.

Сначала он долго бродил по пустынной квартире, никого не находя.

Все было тихо — ни стопа, ни шороха не раздавалось в комнатах, сохранивших свой обычный, будничный вид.

Он хотел окликнуть, но побоялся. Жуткое чувство начало закрадываться в душу. Пустота и тишина говорили о смерти.

Он начал метаться из одной комнаты в другую, сбитый с толку, потеряв голову. Заходил туда, где был уже несколько раз, останавливался и схватывал себя за голову, чувствуя, что его покидает надежда.

Но вот он открыл дверь, мимо которой уже несколько раз прошел, не останавливаясь, и в полутемноте увидел человеческую фигуру, неподвижно лежащую на постели.

Одним прыжком он был около нее. Да, это она, Надежда Александровна. Он узнает ее нежное, милое лицо, хоть оно и искажено страданием. Но отчего закрыты глаза? Отчего она неподвижна? Неужели мертва?

Хребтов схватывает руку, лежащую поверх одеяла — бледную, тонкую, полудетскую руку. Нет, слава Богу, жива — рука горячая, как огонь.

Но она без сознания. Профессор сразу оценивает, что значит этот признак. При чуме, потеря сознания наступает лишь под конец, незадолго до агонии.

Неужели же спасение опоздало?

Он наклоняется ближе и видит другие страшные признаки: на лбу, на этом чистом лбу, нежная округлость которого теряется под мягкими прядями волос, горят кровавые пятна, как будто до него дотронулись когти самой смерти.

Не поздно ли он пришел? Успеет ли сыворотка подействовать?

Невыносимое сомнение закрадывается в душу Хребтова. Ведь девушка почти в агонии. Для борьбы с болезнью не остается времени.

Эта банка, принесенная им с собою, это последнее слово всемогущей науки, все-таки не может сотворить чуда.

Первый раз в жизни он столкнулся лицом к лицу с чем-то более сильным, нежели знание, нежели мысль, нежели воля.

Что это — Бог? Судьба? Не все ли равно. Ему не до того, чтобы разбираться в этом, но он чувствует непреодолимое могущество этого; чувствует почти реально.

Как бы то ни было, нужно сделать прививку.

Он начинает приготовления с методичностью старого оператора. В каком месте произвести укол? Обыкновенно сыворотку вспрыскивают в область живота, но он не может решиться обнажить бесчувственную Надежду Александровну.

Можно сделать укол в руку. Хребтов ищет по комнате какую-нибудь дезинфицирующую жидкость и находит на скромном девичьем туалете банку одеколона.

За неимением лучшего и это пригодится. Он промывает одеколоном шприц, затем берет жидкости на вату, чтобы обмыть кожу в месте укола.

Освобожденная из-под одеяла рука, нежная, тонкая, бледная, совершенно беспомощна в корявых, темных пальцах профессора. У него начинает кружиться голова, ему хочется плакать над этой худенькой, покрытой синими жилками ручонкой.

Он припадает к ней губами, но момент опьянения прошел, и снова на месте влюбленного мужчины сидит методичный оператор, борец со смертью.

В то место, которое только что целовал, профессор вонзает холодную, твердую иглу.

От боли Надежда Александровна открыла глаза и рванулась. Хребтов хотел ее успокоить, но к ней вернулась лишь половина сознания. Она не понимает, что ей говорят. Ей чудится, что огромный, страшный паук впился ей в руку.

— Больно, больно! — стонет она. — Какой отвратительный, страшный, Господи!.. Мама!.. паук — вот он сидит. Спасите!..

Профессору кажется, что она узнала его и про него говорит все это, но он занят только шприцем. Одной рукой крепко стискивает рвущуюся руку девушки, другою нажи-

мает поршень.

Под кожей, около иглы, вздувается опухоль.

Теперь целительная жидкость начнет рассасываться по сосудам, проникать в кровь, начнет бороться с чумою.

Но не поздно ли?

Хребтов укладывает больную, снова потерявшую сознание, бережно прикрывает одеялом обнажившуюся шею и остается сидеть около нее на краю постели.

Весь мир заключается теперь для него в этой комнате. Куда он пойдет, раз она лежит здесь неподвижная, без сознания.

Судьба соединила-таки их. Вот они вдвоем, а там, за стенами комнаты, тянется бесконечно большой мир, который все-таки мал и ничтожен, не имеет ни смысла, ни значения по сравнению с тем, что происходит в этом маленьком, хрупком тельце.

Профессор сидит, смотрит в лицо больной, а в голове его, словно удары тяжелого колокола, звучит одна и та же фраза:

«Не поздно ли? Не поздно ли?»

Проходит час, другой. Если бы кто-нибудь взглянул на них, он не сумел бы сказать — живы они или умерли, так оба были неподвижны.

Только дыхание больной становится все тяжелее. Красные пятна на лбу горят все ярче. Очевидно, болезнь идет вперед.

Вот Надежда Александровна пошевелилась. Она подняла руку и начинает мять ворот рубашки пальцами, такими же белыми, как полотно. Хребтов тоже встрепенулся. Он вглядывается в нее, пытаясь разгадать судьбу.

Его глаза, уже давно привыкшие к полутьме, видят, что на лице девушки играет нежная, немного жалобная улыбка. Очевидно, раскаленный бред сменился грезами.

Она заговорила. Тихо, тихо, как говорят влюбленные девушки на ухо возлюбленному среди тьмы и тишины весенней ночи.

Вместе с ее словами, до слуха Хребтова доносится мужское имя.

— Саша, — говорит она. — Саша, ты любишь, милый?

Профессор словно окаменел, весь скорчившись, судорожно сжав руками край постели. Лицо его исказилось, как от сильной боли.

Кто этот Саша, которого она зовет на пороге смерти? Ему принадлежит ее душа. Может быть, принадлежит и тело?

Хребтов задерживает дыхание, чтобы не проронить ни слова.

А голос ее звучит еще нежнее. Кажется, что в нем не осталось уже ничего плотского.

— Саша, любимый мой! Ведь ты знаешь, что тобою только я живу и дышу. Ведь ты чувствуешь это? не правда ли, хороший? Приди же ко мне. Ну, подойди. Я должна дотронуться до твоей руки. Я жажду этого прикосновения — мне сразу станет легче.

Ее рот полуоткрыт. Пурпуровые губы грезят, среди бреда, о поцелуях.

Вдруг Хребтов наклоняется, сгибается, как подкрадывающийся зверь, и говорит:

— Я здесь, я твой, люблю тебя!

И он чувствует пожатие ее руки. Чувствует, как тонкие, горячие пальцы переплетаются с его пальцами.

Склоняет свою безобразную голову к ней на грудь и ловит новые слова ласки, нежности, упоения, которые повторяет умирающая.

Он крадет эти слова и наслаждается ими так, будто они принадлежат ему по праву.

Бред овладевает и им. Он припадает к губам девушки, пьет жар, которым они дышат. Говорит ей все страстные речи, которые обращал к ней столько раз во тьме одиноких, бессонных ночей.

Обвивает ее руками свою шею, принимает как собственность все ласки, предназначенные неизвестному сопернику.

Он упивается безумной радостью в ее раскаленных объятиях, с затуманенной головой, с бешено бьющимся сердцем.

Он не думает ни о чем. Не думает даже о ее жизни.

Вдруг Надежда Александровна поднялась и с неожиданной силой отбросила от себя профессора.

Ее взгляд остановился на нем, полный ужаса... отвращения.

Минуто она оставалась неподвижной, комкая судорожными движениями пальцев одеяло, потом воскликнула:

— Опять он... паук... страшный, чудовищный, о... о... о...

Крик перешел в стон, в порывистые всхлипывания. Она опрокинулась навзничь и забилась в страшной судороге.

Потом раздался хрип, лицо ее исказилось, еще одна такая судорога и Надежды Александровны не стало.

Ее светлая, радостная душа вырвалась из когтей чумы и бреда.

Хребтов до следующего утра пробыл наедине с трупом. Что он чувствовал, что пережил — неизвестно.

Но когда, на другой день, он покинул дом Крестовской, все лицо его подергивалось судорожным смехом.

Размахивая руками, что-то бормоча про себя, он то и дело поглядывал на небо и смеялся, издавая звуки, похожие на собачий лай.

Х

Несмотря на то, что чума свирепствовала с неслыханной силой, и целый ряд крестных ходов и молебствий не принес против нее никакой помощи, простонародье по мере того, как горе и лишения возрастали, все охотнее прибегало к Богу.

К концу эпидемии, религиозное настроение достигло своей наибольшей силы, вероятно, под влиянием естественной реакции после погромов и других преступлений разнузданной толпы.

Излюбленные московские святыни никогда еще не пользовались таким успехом, как в это черное время. Торжественные молебствия в Иверской часовне собирали десятки тысяч богомольцев. В дни, когда они происходили, вся пло-

щадь перед часовнею была залита народом.

Сходилось, по преимуществу, простонародье — фабричные рабочие, извозчики, крестьяне, которых чума застала в городе, разносчики и мелочные лавочники, дела которых остановились, масса баб, множество детей, словом, та же толпа, которая перед этим наводняла город, которую безысходный ужас положения сначала довел до зверского состояния, а теперь побудил обратиться к Богу.

И хотя многие из молящихся имели запятнанные кровью руки, бесконечная, детская вера была разлита в группах людей, коленопреклоненных вокруг часовни.

Глубокое умиление охватывало всех, когда из открытых дверей доносился молитвенный возглас священника или вырывались сизые клубы фимиама.

Вся толпа колыхалась тогда, охваченная одною мыслью, одним чувством.

На всех лицах было общее выражение и тысячи голосов шептали одни и те же слова.

Наступил момент, когда человек, распятый две тысячи лет тому назад за то, что вступил в борьбу с жестокими законами жизни, снова совершал чудо, вырывая людские души из тисков действительности, побеждая реальность мечтою.

Из темной, наполненной огоньками свечей глубины маленькой часовни, словно спрятавшейся между тяжелыми зданиями Городской думы и Исторического музея, исходил чудесный ток, распространявшийся до самых отдаленных углов площади, до последних рядов молящихся.

Он возвращал людям потерянную надежду, вызывал в них представление о чем-то хорошем и светлом, что разлило в жизни повсюду, но чего они до сих пор не замечали.

Голод и смерть, ужас и отчаяние, спрятавшись в окружающих улицах, поджидали богомольцев на их возвратном пути. На площади же для них не было места. Там собирались для того, чтобы под гипнозом веры получить несколько минут забвения.

Вот какую картину представляла площадь перед Иверскими воротами утром, на другой день после смерти На-

дежды Александровны, когда сюда забрел Хребтов.

Перед этим он долго ходил по городу, словно лунатик, не замечая, где находится.

Поэтому, увидав толпу, он остановился и не без усилия стал соображать, что это значит.

Ветер доносил до него отталкивающий запах пота и грязной одежды. Общее впечатление густой массы людей было такое, будто вся площадь завалена грудami серых лохмотьев.

Время от времени эти лохмотья оживали, взмахивали тысячи рук, совершая крестное знамение, и ряды голов склонялись, как склоняются волнообразно колосья в поле под порывами ветра.

Из ближайших рядов доносились вздохи и бормотание. Молитвенных слов нельзя было различить, так что жужжание голосов казалось смешным и бессмысленным.

Профессор смотрел, слушал и улыбался. Сумашедшая мысль явилась у него в голове, заставила его глаза заблестеть, но он еще раздумывал и не решался.

Наконец, покорившись быстро возникшей идее, словно в порыве вдохновения, он двинулся в толпу и начал проталкиваться вперед.

Все, кого он толкал, грубо протестовали, но он, казалось, не слышал и так же энергично продирался между следующими рядами. С высоко поднятою головой, со смеющимся лицом и блестящими глазами, он все глубже врезывался в человеческую массу, оставляя за собою ропот недовольства. Скоро он исчез за рядами спин и голов, словно проглоченный толпою.

Молебен, между тем, кончался. Последние возгласы замолкли в часовне, свечи начали гаснуть. На ступенях показался священник, посылая во все стороны благословения ярко блестящим крестом.

Задние ряды уже начали расходиться, унося в душе облегчающее воспоминание о светлых минутах, проведенных на площади. Но передние ряды, наоборот, сомкнулись теснее, потому что, когда священник ушел, на его месте появился Хребтов и, протянувши руку, громко закричал:

— Стойте. Я хочу говорить!

Сумасшедшие в ту пору встречались повсюду и на него никто не обратил бы внимания, если бы не поражающее уродство профессора и не выражение страшной силы и злобы, каким дышала его фигура.

— Стойте! — повторил он, и толпа замерла, невольно подчиняясь его повелительному голосу.

Тогда, с высоты ступеней часовни, Хребтов начал говорить свою речь. Слова его гремели и звучали по площади, долетая до каждого из слушателей.

— Слушайте, вы, голодные, полуживые от страха, поклонники Бога, который смеется над вашими страданиями. Я скажу вам такую правду, какой никто никогда не слышал и не будет слышать, потому что не было и не будет другого Хребтова.

Он остановился, чтобы перевести дух. Кровь бросилась ему в голову от напряженного крика. А между тем, по площади пробежал смешанный говор. Нашлись люди, которые знали его фамилию.

Слышались голоса:

— Кто это? Хребтов? Кто он? Профессор? Доктор? Да, доктор.

Но сейчас же снова зазвучала речь профессора:

— Я пришел сюда, люди, чтобы бросить вам в лицо свое презрение, свою ненависть. Я ненавижу вас давно, ненавижу ваше грязное, глупое стадо. Ненавижу за то, что принадлежу к вам, ненавижу за то, что не похож на вас.

И вот теперь, чтобы потешить свою ненависть, я скажу вам, откуда взялась чума.

Мое мщение было бы не полно, если бы я не сказал этого. Только когда вы узнаете, кто поразил вас бичом, я буду смеяться как следует.

Он снова был принужден сделать перерыв. Толпа волновалась и кипела. Передние ряды подошли вплотную к ступеням. Всюду раздавались разговоры, объяснения, догадки.

— Что сказал? Что он пустил заразу?

— Да нет же — ведь видите, он сумасшедший.

— Что ему стоит. Недаром доктор. Доктора всегда...

— Чего он богохульствует?.. Прочь его!.. растоптать... это сам дьявол. Недаром у него рожа такая!

— Дьявол, дьявол! — выкрикивала какая-то женщина, чувствуя приближение эпилептического припадка.

Хребтов, между тем, собрался с силами и подошел к краю возвышения. Он был красен, каждый нерв у него дрожал от веселого и жуткого напряжения, знакомого тем, кто совершал безумства.

Голос его, еще более твердый и громкий, последний раз покрыл шум толпы и заставил себя слушать.

— Это я, я создал в городе чуму. Я, своею властью, предал вас смерти и отчаянию. Я истребил ваших детей, ваших родных, ваших друзей. Я свел с ума столько людей. Я терзал и мучил всех вас столько времени.

Все, умершие до сих пор, убиты мною. Все, кто умрет до конца эпидемии, будут убиты тоже мною.

Я создал, воспитал отраву у себя и наполнил ею воздух, которым вы дышите.

Теперь воля моя совершилась. Вы будете умирать и никто, никто, даже Бог, которому вы поклоняетесь, не спасет вас.

Хребтов сделал резкий, вызывающий жест по направлению к небу.

Глухой гул сменил тишину, воцарившуюся во время его последних слов. Люди не могли поверить необычайному признанию, но постепенно настроение толпы стало меняться. Хребтов своею дьявольскою внешностью, своим нервным подъемом втянул ее в ту область необычайного, где кончаются права рассудка и начинаются проявления темперамента, слепые, дикие порывы.

Все больше и больше слышалось негодующих криков:

— Иуда, убить... дьявол!

Толпа шумела, редела, делала угрожающие жесты, но еще оставалась неподвижной.

Хребтов смотрел на нее сверху вниз с улыбкою на губах, словно чего-то ожидая.

Потом он спустился на две ступеньки и обычным, негромким голосом проговорил:

— Не забудьте рассказать вашим детям, что это я, Хребтов, создал чуму в Москве!

Эта фраза его была последнею. Со всех сторон надвигались на него разъяренные люди. Безумие, которое он дразнил в толпе, наконец, вспыхнуло со страшною силою.

Все присутствующие, как один человек, бросились вперед, чтобы уничтожить, раздавить чудовище.

С сумасшедшей радостью Хребтов ответил улыбкою на эту ярость. Бледная улыбка одинокого человека была противопоставлена тысячам зверских гримас.

Потом он закрыл глаза и, охваченный внезапною слабостью, отдался ударам, которые на него сыпались, рукам, которые его хватали.

ОБ АВТОРЕ

Николай Петрович Лопатин — писатель, либеральный журналист. Родился 3 ноября 1880 г. в Калужской губернии. Выступал в печати под псевдонимами Багира, Лулу.

В 1908 г. на единственный роман Лопатина «Чума» был наложен арест Комитетом по делам печати, издание было конфисковано полицией.

В 1909 г. Лопатин редактировал недолговечную еженедельную газету «Жизнь». За напечатание заметки Л. Толстого «Нет худа без добра», направленной против смертной казни (в номере от 9 февраля) был подвергнут штрафу в 3000 руб. с заменой, в случае несостоятельности, 3 месяцами заключения. Не имея средств заплатить, выбрал последнее. Во время пребывания в тюрьме обменялся письмами с Толстым, посетил его в Ясной Поляне 21 ноября 1909 г. (Толстой записал в дневнике, что нашел Лопатина «приятным человеком»). Свой визит описал в заметке «Вести из Ясной Поляны» («Утро России», 1909, № 40 от 24 ноября).

Кроме «Утра России», позднее сотрудничал в «Русском слове», в 1912 г. редактировал прогрессивную «Варшавскую газету». Покончил с собой в Москве 1 января 1914 г.

Роман «Чума» публикуется по первоизданию (М.: изд. Н. Афанасьева, [1908]). Орфография и пунктуация текста приближены к современным нормам; также исправлены очевидные опечатки и отдельные устаревшие обороты.

В оформлении обложки использована работа Э. Лисснера «Чумной бунт».

Издательство благодарит А. А. Степанова за идею переиздания книги и помощь в работе.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.